



Екатерина Лесина
Неизвестная сказка Андерсена
Серия «Артефакт-детектив»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319252
Неизвестная сказка Андерсена: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-42015-5

Аннотация

Когда Даша шла устраиваться на работу, она не ожидала, что будущим шефом окажется ее старый знакомый Ефим. И уж точно не собиралась становиться свидетельницей убийства – во время их обеда с Ефимом прямо в приемной погибла еще одна претендентка на вакансию секретарши... Однажды ночью Ефим позвонил Даше с предложением попробовать вернуть их чувства, но до ее дома так и не доехал – очнулся на городской свалке. Он ничего не помнил, знал только – все дело в патенте на изобретение, который он не успел оформить. Ученая Эльвира Стеклова записала данные о своем открытии в первом русском издании сказок Андерсена и отправила Ефиму, но посылка до него так и не дошла, а сама изобретательница погибла при загадочных обстоятельствах. Теперь, чтобы найти книгу, надо расшифровать сюжеты знаменитых историй великого датского сказочника и понять, куда ведут следы...

Содержание

Предисловие	4
История первая. Снежная королева,	14
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Екатерина Лесина

Неизвестная сказка Андерсена

Предисловие

Сказка сама по себе является артефактом. Возникнув очень давно, она существует и поныне.

Сказка – это вера в чудо и справедливость, в то, что зло будет наказано, а добро непременно восторжествует. И даже когда мы взрослеем, отгораживаемся заботами и делами, становимся серьезными, сказка продолжает жить.

И оставляет надежду на то, что когда-нибудь...

Дюймовочка попадет в волшебную страну и встретит принца, Стойкий Оловянный Солдатик уцелеет в огне, а Герда в очередной раз спасет Кая.

Сказка – это зеркало, в котором отражается мечта, а с нею – подспудные страхи, но ведь сказка тем и хороша, что финал обязательно будет счастливым.

С уважением, Лесина Е.

Громко тикали напольные часы. Мальчик не видел их, но хорошо представлял себе и огромный, покрытый лаком короб, и натертые до блеска стекла в дверцах, и огромный, сияющий медью циферблат с темными цифрами, и стрелки. На одной жила луна, на другой – солнце, изредка небесные светила встречались, но лишь для того, чтоб снова разбежаться. Были у часов и цепочки с грузилами в виде сосновых шишек, и крохотное отверстие для ключа.

Мальчику нравилось смотреть, как заводят часы: едва слышно скрипят пружины, пощелкивают шестерни, шелестят стрелки, подгоняемые пальцами, и ползут вверх, к самому циферблату, отвесы. Потом несколько мгновений тишины и безвременья, и снова: цок-цок-цок, чок-чек-чок... здравствуй, солнце-брат... лучи-лепестки, пухлые щеки, крохотные камушки-глаза.

– Да-да-да... ох-ох... тиш-и-ше, – доносилось из темноты. Скрипели половицы, стонали двери, ветер шуриал в задвинутые ставнями окна. И вот уже тиканье растворилось в этом скоплении звуков.

Страшно.

Тук-тук-тук – сердце в груди.

Стук-стук-стук – клен за окном.

– Дай-дай-дай, – требует кто-то. Мальчик оборачивается, тянет руки в темноту и тут же одергивает – пусто. Холодно. И живо. Ну, конечно, оно живо, оно здесь, оно вздыхает и требовательно, настойчиво шипит: – Дай же!

– Уйди! – Мальчик ныряет под одеяло, скручивается клубочком и затыкает уши пальцами, сильно-сильно, до боли, до звона. А оно все равно просачивается, принюхивается, лезет: – Дай!

Кто-то ходит, кто-то дышит, шумно, с присвистом. Вздыхает. Всклипывает и тянет:

– Да-а-ай!

Мальчик, не выдержав, сбрасывает одеяло, садится на кровати и почти кричит:

– Уйди!

Но в комнате никого нет. Пусто и даже не очень темно: серо-лиловая зыбь подрагивает, но это от его собственного дыхания, и отползает, только в самом углу комнаты, между комодом и стеной, ворочается черная Тень. Не такая, как другие тени – дневные ли, ночные – живая.

Тень мальчика заметила, замерла и, выкатившись из угла, сказала:

– Здравствуй, мальчик.

– Здравствуй, Тень, – прошептал он.

– Ты меня боишься?

– Н-нет, – мальчик соврал, он очень боялся Тени – длинной, угловатой и черной-пре-черной, как печная сажка.

– Боишься-боишься, – у Тени был хриловатый голос и зеленые кошачьи глаза. Смотрела она внимательно, с прищуром и уходит не собиралась, хотя мальчик, вспомнив наставления пастора, скоренько прочитал «Отче наши» и потом еще на всякий случай «Аве Мария». Тени понравилось, Тень, подтянувшись, забралась на кровать и распушила перья. Да, да, самые настоящие перья, теперь она походила на огромного черного петуха, обитавшего на птичьем дворе Корбычевой вдовы.

– Красиво говоришь, – Тень зевнула и, коснувшись мальчика липкой лапой, сказала: – Ты очень славный мальчик, я давно за тобой наблюдаю. Да, да, наблюдаю. И знаю, что ты любишь придумывать то, чего нет.

– Это что же? – мальчик обиделся. Ему показалось, что Тень назвала его вруном. А это неправда! Он не врал, разве что самую малость, когда совсем без вранья обойтись нельзя было.

– Часы. Ты же придумал часы. Ты их видел в доме вдовы шляпника, и то через окно.

– Нет!

– Да, я – твоя Тень, я знаю, что на прошлой неделе ты забрался в ее садик и заглянул в окно. А глупая гусыня как раз заводила часы. Тебе они очень понравились, верно? И ты подумал, что неплохо, наверное, если эти замечательные часы поселятся в твоём доме.

– Неправда, – очень-очень тихо сказал мальчик, хотя с садом Тень угадала. – У нас свои часы! Это мамино приданое!

– Твоя матушка – прачка, отец – сапожник. Откуда у них деньги на часы? Нет, ты их придумал. Но это хорошо. Если ты можешь придумать так, чтобы придуманное ожило, то ты – очень талантливый мальчик, и мне с тобою повезло. Теперь мы вместе будем придумывать.

Мальчик не хотел слушать Тень, он даже попытался столкнуть ее с кровати, но босые пятки прошли сквозь черноту, а тиканье вдруг пропало.

– Вот-вот, – Тень взъерошила перья. – И дом твой совсем не такой. На самом деле он ведь маленький, правда? И пахнет в нем...

Клеем пахнет, кожами, едким мылом и травами и еще, когда приходит бабушка, болезнью. Правда, этот запах никто, кроме мальчика, не слышит, но он определенно существует.

Или нет?

– Я настоящая, – обиделась Тень. – И ты настоящий. И все, что ты видишь, тоже настоящее. А поэтому мы будем смотреть.

– Куда?

Тень заохоталась, заворочалась, хлопнула крыльями и сказала:

– В прошлое. Или в будущее. Или в очень далекое настоящее. Какая разница? Главное, ты смотри. Запоминай.

– А что потом?

– Потом ты расскажешь об увиденном. Если не забудешь.

*– Не забуду, – пообещал мальчик. – Я ничего не забуду.
– Хорошо, – согласилась Тень. – Тогда я прослежу за тобой.*

Бежать, бежать, бежать... Стоять. Никакого бега, он привлекает внимание, а привлекать внимание ни в коем случае нельзя. А что можно? Можно прятаться – серое на сером, человек среди людей. А людей здесь хватает. Это хорошо, сложнее найти будет: он умеет прятаться.

Раз-два-три-четыре-пять
Я иду тебя искать.

Уже нашел, почти: в самую распоследнюю секунду удалось выскользнуть, скинуть записи надежному человеку, так что пусть ищут, кукиш найдут, а не разработку.

Он даже скрутил этот кукиш, тугой, крепкий, с трудом уместившийся в кармане старого драпового пальто. Не кукиш, а пистолет настоящий: «парабеллум» или этот, как его там, «магнум» пресловутого 45-го. Ну-ка подходи, народ, за свинцовыми пирожками.

Его трясло и лихорадило: от простуды и температуры, сбивать которую было некогда и нечем; от собственного окаянства; от страха, не желавшего покидать обжитое тело. И кукиш в кармане наливался взаправдашним свинцом.

Вынуть руку, наставить на первого попавшегося – лучше, чтоб попался кто-то из жадной своры, – приставить холодный ствол к переносице да спросить:

– Ну что, доигрался?

Человек даже хихикнул, до того забавной показалась картина, но тотчас смех исчез, сменившись нервностью. Жарко-жарко-жарко... и люди. Как их много, запрудили улицу, вымеси́ли снег в грязь, чавкают ногами, хлюпают носами, сразу разносят и до него донесли.

Сволочи.

Кругом одни сволочи, и даже те, которые вдруг решили в спасителей поиграть, ничем не лучше. Хуже даже. Гаже.

– Хуже-даже-гаже, – пробормотал человек в клетчатый шарф, который скрывал нижнюю половину лица. Верхнюю, впрочем, тоже было бы затруднительно разглядеть: широкие поля фетровой шляпы, старой, мятой и смешной, свисали едва не до самого носа, надежно отгораживая от внешнего мира.

Да и не было миру дела до еще одного неудачника.

Впрочем, на сей раз неудачнику тоже не было дела до мира. Он ловко подрезал толстую в линия́лой дубленке, выюном просочился через стайку пацанят в разноцветных, но все равно одинаковых пуховиках, перепрыгнул через пустые санки, удержался, когда подошвы поехали по мокрой плитке, и снова скрутил дулю.

Вот тебе, мир, получи свинца! Пусть воображаемого, но душе все одно легче.

До цели оставалось не так и далеко: угол дома, затем перекресток – пешеходный переход, светофор, люди, безопасность – и возделенное крыльцо, стеклянные двери рая и апостол по форме. Электронный пропуск – страсотерпцам в рай без очереди – и другая жизнь.

Он заслужил! Заработал! Он...

– Простите, – на плечо легла рука, заставив замереть в испуге, – вы не подскажете: Конева, пятый дом, это где-то рядом?

Рыжие волосы из-под кокетливой норковой шапочки, зеленые глаза в перламутре румян, пухлые губки и невинное выражение.

Не верить! Никому не верить!

И человек не без сожаления – редко к нему подобные феи с вопросами обращались, выбирали кого посимпатичнее – стряхнул руку, буркнул:

– Понятия не имею.

– Точно? – удивленные глаза, беспомощные – еще немного и фея разрыдается. Вот-вот, уже трясется вся от рыжих кудельков до ножек-ходулек в сетчатых чулках. – Вы извините, но мне очень надо! Я на собеседование опаздываю.

– Ничем не могу помочь, – человек заставил себя повернуться к незнакомке спиной, сгорбился, расставил локти и бегом – ну, почти бегом – рванул к перекрестку.

Не бежать. Не выделяться. Не привлекать внимания и не оборачиваться. Идет ли она следом? И что будет, если догонит?

А ничего. Зеленый свет, толпа. Застрять между солидным господином в драповом пальто – а локти-то лоснятся, значит, не новое пальтецо, просто носит бережно – и усталой мамашей, что тянет на буксире прыщавое чадо.

Шлепают ноги, давят в воду свежий снег. Сигналят машины, поторапливая человечесьё стадо, а то покорно поторапливается. И человек еще немного ускоряет шаг. Ступенька и ступенька. И еще одна. Под сердцем закололо, под языком запекло, а отблески внешнего света на райских вратах на мгновение ослепили.

Прошло. Выветрилось. Теперь нормально, теперь подняться, упереться в золоченую ручку, продавить пружину, войти в холл.

– Простите, вы к кому? – апостол-охранник оказался остолопом. К кому... будущих хозяев в лицо знать надо! Но человек был в хорошем настроении и снизошел до разговора:

– Я к Ряхову. По личному приглашению. Вот.

Карта-пропуск легла на стол, охранник кивнул, потом снова кивнул, уже в сторону турникета, и потерял к визитеру интерес.

Тот же, преодолев препятствие, направился к лифтам, но в последний момент свернул в один из боковых коридоров. Беззвучно открылась и закрылась дверь, и в здании стало пусто, впрочем, ненадолго. Следующий посетитель, точнее посетительница, куда больше понравилась охраннику, ибо была молода, хороша собой и кокетлива.

Эта, впрочем, села в лифт.

Наверное, такое совпадение ничего не значило. Или, напротив, значение его было столь велико, что заставило бы человека отступить, но... но он, подгоняемый страхом и болезненным куражом, бежал вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну, размахивая кукишем, как оружием, и грозясь кому-то неизвестному. Прыгали клетчатые хвосты шарфа, подлетали полы грязного пальто, грозила упасть шляпа, но разве это повод, чтобы остановиться?

Нет! Он победил! Он добрался! Он...

Он не рассчитал силы и, остановившись между этажами, прижался к стене.

– Вот так вам! Пиф-паф, – захохотал он, уже не таясь, стащил шляпу и, скомкав, вытер лицо жестким драпом. – Получи, придурок.

Шляпу бросил на лестнице, а потом и пальто – дышать стало легче, – дальше поднимался спокойно, тренируя будущую позу и походку, заодно и чувство собственного достоинства. Пригодится.

Жалко, Людка не увидит. Или не жалко? А так ей и надо, стерве крашеной, бросила, сбежала – теперь пусть локти кусает. А он себе получше кого найдет. Молоденькую, стройненькую, кудрявенькую, вроде той рыжей. И будет ему наконец счастье.

Он почти дошел, толкнул уже дверь, но та отчего-то оказалась заперта – пришлось спускаться. На ступеньку. Две. На третьей сверху щелкнуло, еле слышно, но человек дернулся, чтобы в следующий миг хлопнуть по шее: больно.

И странно. Сердце остановилось. А ступеньки вверх скакнули. Не бывает так, чтобы вверх, но они...

Тело упало, покатилося и замерло, ударившись о стену, впрочем, этот факт мало кого интересовал, гораздо важнее было другое: все шло по плану.

И если повезет, то и дальше будет без сбоев.

Пожалуй, эти двое были предназначены друг для друга. Он – солдат, герой войн двора и района, кавалер ордена разбитых носов и поверженных врагов, награжденный жестяной медалью за храбрость и отцовским подзатыльником за разодранные штаны. Она – балерина, небесное создание, поглядывавшее на местных хулиганов свысока, четко осознающее превосходство над ними, но еще не понимающее, чем оно вызвано.

Они даже встречались: мельком, случайно, и тогда он, уже повзрослевший, грозно выпячивал грудь и подбородок, оттопыривал губу с прилипшей сигаретой и, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закашлять, выдыхал клубы сизого дыма.

Она смущалась, розовела, заслонялась от него живым щитом подруг и сплетен, сама не замечая, что говорит нарочито громко и торопливо, а смотрит под ноги, словно опасаясь пересечься взглядом.

Наверное, она уже чувствовала что-то такое, предопределенное. А может, и не чувствовала, может, ей просто льстило такое вот безыскусное внимание.

А потом... потом ее родители переехали. Она недолго маялась тоской, сидением у кухонного окна и вышивкой крестиком, которая скорее раздражала, чем успокаивала. Впрочем, сейчас, в тринадцать, ее раздражало все, включая собственную угловатость и как-то резко обострившуюся неуклюжесть, и ощущение неудачи, прежде ей несвойственное, преследовало даже во снах.

Она боялась ошибиться, оступиться, забыть урок и, потакая страхам, ошибалась, оступалась, забывала...

– Переходный возраст, – говорили родители, вздыхая и переглядываясь. – Пройдет...

И оказались правы. Прошел.

И у него тоже. Нет, он не стал серьезнее, скорее к подростковой злости добавились юношеский романтизм и первая любовь – в нарушение сюжета сказки не к балерине, а к однокласснице, ответившей на чувства благосклонно. Они решили пожениться, как только он вернется из армии.

Мысли не идти не было: солдаты не уклоняются от войны.

Но оловянные солдатики не знают, сколь жестокой она бывает.

Он долго удивлялся: как же так вышло? Почему кровь и смерть, почему свои и чужие, которые не так давно были своими? Почему не честь и благородство, а грязь и страх, железный, раскаленный солнцем бок БТРа, вой – собачий и людской, ложь и многое другое, измаравшее память и жизнь. Где-то там, среди взгорий и ущелий, ушла мечта, а чуть раньше – невеста. Обычное письмо: «Прости, пойми, не обижайся, пожалуйста».

В первый миг предательство добило. Во второй – показалось пустяком. Ну да, что толку плакать по письму, когда стреляют. Выжить надо. Он выживал, и у него это получалось.

Она... она тоже выживала, но на другой войне, пропахшей свежим потом, грязью, въевшейся в пуанты, и болью – в кости. Она старалась, давила из себя улыбки, даже когда хотелось рыдать от обиды: она же не виновата, что выросла!

Да, именно в этом проблема: она выросла. Не в четырнадцать, когда можно было бы все бросить, и не в шестнадцать, когда бросать было бы жаль, но все равно не так поздно. Нет, в то время она была обыкновенна, даже почти идеальна с точки зрения пригодности к балетным войскам. Мама считала ее красавицей, отец, давно ушедший к другой женщине, хвастался успехами дочери компаньонам по бизнесу. Оба, забывая о давней ссоре, горди-

лись. И ради этой гордости она готова была на все... вот только она не могла не расти. Медленно, но все же – метр шестьдесят восемь, метр семьдесят, метр семьдесят два.

– Простите, милая, но вам лучше поискать другую специальность. Вы слишком... – мэтр взмахнул рукой, изящно, выверенно, почти танцуя.

– Но есть и те, которые выше... – она не хотела отступить без боя.

– Есть. Но не такие толстые.

Тогда она перестала есть. Почти. Сбросила пару килограммов, еще пару. И доби- лась-таки своего: ее оставили в театре. Пусть не в Большом и не примой – на это она даже не надеялась, – но ведь оставили, а значит, надежда есть.

Надежда оставалась и ему: на возвращение. На то, что когда-нибудь потом он станет «нормальным», забудет, изменится, переплавится в обычного человека, без ночных кошма- ров и невнятной тоски по чудесному. Пожалуй, именно эта тоска и подтолкнула его вспо- мнить о девчонке из соседнего дома.

И эта тоска нарисовала несуществующую любовь.

Теперь было с кем разговаривать, шепотом, понимая и стыдясь этого неопасного безу- мия, жаловаться и утешать, потому что у нее тоже были проблемы, ведь не бывает так, чтобы совсем без них, а значит, можно поделиться теплом и принять немного от нее.

Нельзя сказать, что она совершенно не ощущала этой связи: рождалось порой некое неудобство, от словно бы чужого присутствия, которое – вот уж точно глупая глупость – успокаивало ее. И бывало, слезы – редкие, ведь нужно беречь грим, лицо и мамины нервы – сами высыхали, стоило подумать о...

Ее защитник был безлик и безымянен, а потому, когда случилось появиться иному, весьма из себя представительному, она не устояла. Балерины – создания ветреные.

Впрочем, ему-то, далекому, сгорающему на войне и изо всех сил пытающемуся не сго- реть дотла, не было дела ни до ее кавалеров, ни до ее жениха, ставшего в конце концов супру- гом, ни до нее самой, нынешней. В его памяти осколком чудного мгновенья жила бледная, худенькая и вся какая-то непередаваемо хрупкая девчонка, которая так упорно не обращала на него внимания.

Любовь спасала.

Ей тоже показалось, что спасение близко, только руку протяни, а лучше вытяни, чтобы блеснул на солнце золотой ободок: вот оно, счастье. И какая разница, что мама шепчет, будто нет в нем любви, расчет один, надежда на карьеру в папиной фирме. И что папа думает так же, но, поддаваясь любви к дочери и долгу, тянет зятя вверх.

Выше и выше, туда, где горы...

Горы он оставил, когда понял, что ненавидит их, серо-зеленые или синие, с кро- ваво-красным на закате и туманно-розовым, волглым, накатывающим с востока. И черные, зубастые, скрывающие солнце за каменными горбами тоже ненавидит, и само солнце – жгу- чее, испепеляющее, способное обглодать камни добела, а тело – до костей.

Он сбежал, хотя уговаривали остаться, денег предлагали и взывали к долгу, но в нем не осталось сил на еще один виток. Хватит, он и без того слишком многое отдал горам.

Вернулся. Понял, что не нужен, и ударился в запой, сначала водочный, после – книж- ный, зарываясь в пропыленные страницы, глотая слова и спотыкаясь на знаках препинания, вытягивая оттуда, из прошлого, себя. Не вытягивалось.

Тогда он ударился в бизнес. Зло, жестоко, выплескивая накопившуюся злость, волчьим оскалом, безудержностью и даже каким-то безумием пугая конкурентов, заставляя отсту- пить и на добытом клочке пространства выстраивая свой мир.

Ему отчаянно хотелось в сказку. Она вяло мечтала станцевать Жизель, но с каждым днем слабее и слабее, все больше погружаясь в кордебалетное болото, пропитываясь дрыз-

гами, поддаваясь зависти, стервенея. Доведись им встретиться сейчас, ничего бы не вышло: слишком страшен был он, слишком обыкновенна она.

Поэтому судьба была милосердна, сберегла от встречи.

Еще не время. Еще не судьба. У каждого свой путь.

Он женится и разведется, поняв, что ошибся. Она разведется тоже, потому что ее поставят перед фактом о разводе: супруг достаточно самостоятелен и силен, чтобы не нуждаться более в помощи тестя. А тесть слишком увлечен новорожденным сыном, чтобы копаться в проблемах взрослой дочери. У матери роман, а в балетном училище – новый выпуск.

Увольнение.

– Ты перестала следить за собой, дорогая моя, – постаревший директор печально сопел, вздыхал и заслонялся от нее кружевным платком. – Ты располнела...

– Я сяду на диету, я...

Платок взлетел, протягивая за собой шлейф кофейно-коричного аромата, а розовый палец, перетянутый широким кольцом, решительно указал на дверь. Правильно, не следует беспокоить занятых людей глупыми проблемами.

Расставание. Очередное. И надоело-то до жути.

– Сволочь ты, Ряхов! – кружка, столкнувшись со стеной, разлетелась осколками. А следом и ваза. – Я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу!

Чемодан раскрытой пастью, ворох разноцветных тряпок, запакованные колготки и распакованные чулки, змеиными шкурками свисающие со спинки стула. Роза поверх лифчика, пачка презервативов. Он отвернулся: снова хотелось чуда, того, которое помогло некогда выжить.

– В общем, так, – в спину ткнули твердым и острым, показалось – карандаш, оказалось – ноготь. Ну да, у нее длинные ногти, с камешками и колокольчиком даже. – Если ты думаешь, что я – какая-нибудь шлюха, то ты ошибаешься!

Нет, вряд ли, в том, что происходит, ошибки нет, скорее уж тоска от невозможности изменить. Она обошла его и встала, демонстративно скрестив руки на груди, выдвинула ногу, нахмурилась:

– Или ты забыл, кто мой отец?

Не забыл, только разве это имеет значение? Вряд ли. Они просто не подходят друг другу, при чем тут отец?

– Он тебя в порошок сотрет! Он...

– Чего ты хочешь?

Обыкновенный вопрос, логичный даже: они всегда чего-нибудь да хотели. Шубку-колечко-браслетик-машину...

– Я хочу, Ряхов, чтобы ты сдох! – выпалила она и, вдруг подавшись вперед, обвила его шею, приблизилась, мазнула по щеке губами, оставляя жирный след алой помады, ухватила зубами мочку уха и прошептала: – Если бы ты знал, как я этого хочу...

Не больше и не меньше, чем многие другие. Но вряд ли это желание когда-нибудь сбудется. Сбывшиеся желания – из разряда сказок, а сказок во взрослой жизни не бывает. Это Ряхов знал совершенно точно.

Но расстаться в этот день не получилось.

У Дашки получится. Непременно получится, потому что она умная, сильная, красивая и талантливая. Очень-очень талантливая! Мама знает. И папа знает, пусть и притворяется, что ему больше не интересно, что забыл, но...

Но он уехал, и мама занята, и никому-то нет дела до Дашкиных проблем, им кажется, что если есть где жить и на что жить, то значит, проблемы – порождение Дашкиной фантазии. Папа вчера так и сказал:

– Нечем заняться? Работу найди наконец, только нормальную!

А в театре, выходит, ненормальная была. Но ведь он сам... и гордился... и...

– И кто крайний? Вы? – Всклоченная девица неопределенного возраста плюхнулась на стул, вытянула ноги в сетчатых чулочках и, закусив губу, окинула Дашку придирчивым взглядом. – Что, тоже в секретарши?

– Да, – ответила Даша, чувствуя, что краснеет. Ей было неуютно под этим насмешливым взглядом, усилилось ощущение неуместности, несоответствия. Словно она, Даша, нагло вторглась на чужую территорию и теперь претендует на чужое место.

Очередная глупая глупость – ну какая из нее секретарша? Вот и мама сказала, что никакая, а отец... нет, отец и слушать бы не стал, поэтому Дашка даже не стала говорить. Она сама раскаивалась в этом решении, сидя в приемной: серый квадрат ковра и белый напротив – пола, люстра гроздью желтого винограда и карликовыми фонарями светильники; яркий хром мебели и искусственный глянец воцеленной кожи. Нет, это не Дашкин мир, чужой, как потрепанная газета, сложенная вчетверо и прикрытая из стыдливости сумочкой.

У новой соседки газеты нет, а сумочка крохотная, этакий пенал на длинной цепочке, густо усыпанный золотой пылью.

И волосы у нее блестят, и глаза отблескивают металлом. Самое время встать и уйти. Да, это разумно, это правильно, но...

Хлопнула дверь, выпуская еще одну девицу, на сей раз брюнетисто-вороной масти, а третья, офисно-безлика, отгороженная от прочих высокой стойкой секретарского стола, сухо велела:

– Сухицкая.

Дашка вздрогнула. Никак она не могла привыкнуть к этой фамилии и, выходя замуж, даже хотела оставить прежнюю, родную. Не оставила. А после развода возиться с документами не захотелось.

– Сухицкая! Проходите! – строже повторила барышня, и Дарья поднялась. Ну что ж, какая бы глупая глупость ни была, но довести ее следовало до конца.

Лошадь, определенно лошадь, но не из тех, породистых и дорогих, которыми восхищаются, а просто лошадь, обыкновенная. Широкоплечая, с крепкой задницей, упряманной под мягкий твид английской юбки, с мускулистыми ногами и узким, костлявым лицом. Гладко зачесанные, стянутые в узел волосы лишь подчеркивали жесткие черты, заостряя и удлинняя и без того чрезмерно длинный нос, из-за которого подбородок и рот казались неестественно маленькими. А вот лоб в противовес широкий, покатым, с тремя вертикальными морщинами, тщательно припудренными, но все равно заметными: лошадь была немолода.

Хотя Ефимке плевать – он и на молоденьких внимания не обращает, – но все равно приятно: не конкурентка. Анечке вдруг страстно захотелось, чтобы на освободившееся место – вот дура Ленка, кто ж сбегает с такой-то должности, погодить со своим декретом не могла – взяли именно эту унылую, скучную и неинтересную кобылу.

Но вряд ли, ладно бы просто не красавица, так еще и тормоз, а Ефим тормозов не любит, Ефиму надо, чтоб горело... ну да, про шило в одном месте Марик точно подметил.

Звякнул телефон, заговорщицки подмигнул экраном, приглашая выйти. Анечкаглянула на часы – до обеда оставалось прилично, – потом на дверь, прикидывая, сколько уйдет времени, чтоб сожрать кобылу, и велела последней из записанных на прием девиц:

– Она выйдет, вы зайдете.

Девица кивнула. Ну да, эта своего точно не упустит, хотя – тут Анечка с трудом сдержала улыбку – с Ефимом ее фокусы не пройдут.

Ни у кого не проходили!

Из кабинета Анечка выходила на цыпочках, и дверь закрывала осторожно-осторожно, и еще некоторое время стояла, прислушиваясь к происходящему в приемной. Тихо. И хорошо, что тихо.

Мелкой трусой, придерживая узкую юбку, чтобы не перекручивалась и не морщилась на бедрах, Анечка добежала до лестницы и, в который раз чертыхнувшись – ну надо ж было придумать такое неудобное для свиданий место, – толкнула тяжелую дверь.

Он уже был на месте, о чем говорил резкий запах табака – именно благородного табака, а не мерзкого курева, потребляемого Ефимом. Ну конечно, Марик – не шеф, Марик – особенный.

– Привет, солнышко, – он шагнул навстречу, приобнял, коснулся сухими губами щеки и отстранился, разглядывая. – Как всегда, хороша.

– Спасибо, – Анечка очень надеялась, что не выдала, насколько приятен ей комплимент. – А у меня обед скоро, может, сходим куда-нибудь?

Марик ответил не сразу. Марик думал. Он все делал медленно, и эта неторопливость казалась Анечке синонимом надежности.

Да, он именно такой. Надежный и обязательный. Ласковый. Заботливый. Щедрый. Почти разведенный. Именно последнее обстоятельство некогда привлекло Анечку и подтолкнуло ответить на Мариковы заигрывания. Тогда он казался ей некрасивым: невысокий, сутуловатый и вечно горбящийся, с широким подбородком и узким лбом, скрытым за буйными черными кудрями. Вроде бы тогда она решила, что Марик похож на шимпанзе.

Это было давно.

– Нет, милая моя, к сожалению, не выйдет. Отчет... – Марик тяжело вздохнул и сгорбился сильнее обычного. – Ты же знаешь, он мне голову оторвет, если не сделаю вовремя...

Анечка попыталась скрыть огорчение, но вышло не очень.

– Ну не сердись, солнышко, не сердись. – Марик извлек бумажник и, вытащив наугад две купюры, протянул ей. – Пройдись лучше по магазинам, купи чего-нибудь... к ужину.

Сердце бухнуло: ужин! Он приедет на ужин! И возможно, останется на ночь! А наутро скажет жене, что уходит! Разводится! И женится на ней, на Анечке! Он ведь обещал!

– Лучше расскажи, как он там? Сильно раздражен?

– Нет, не очень, – Анечка спрятала деньги в сумочку. Да, сегодня и именно сегодня он сделает предложение. Давно должен был сделать... вот именно, давно... но тянет.

– Ну же, солнышко, улыбнись. Я так люблю, когда ты улыбаешься. – Он коснулся подбородка. – У тебя тогда ямочка вот тут... Какая же мне красавица досталась!

Нет, конечно, он любит. И рискует из-за этой любви – кому как не Анечке знать правду, – а значит, все у нее будет хорошо. Даже замечательно.

– Солнышко, – мягко промурлыкал Марик, наклоняясь к самому уху. – А ты сделала то, что я просил?

– Нет еще, – прошептала Анечка. – Но сделаю. – Он велел ресторан заказать, вот уйдет, и я сделаю...

Где-то наверху, этаже на седьмом, а может и выше, хлопнула дверь, и Анечкино сердце, до того стучавшее быстро-быстро, громко-громко, вдруг оборвалось, а колени подогнулись.

Мелькнула вторая мысль, еще более неприятная, чем первая: а стоит ли овчинка выделки? И Анечка, тут же успокаиваясь, ответила: стоит.

Спустя пару минут она вышла из здания в настроении почти превосходном, а маленький червячок сомнений привычно заткнулся в первом же бутике. В конечном итоге все будет хорошо и даже замечательно!

– Она уже выехала, я надеюсь, все пойдет по плану...

– Сомнения?

– Нет-нет, что вы, какие могут быть сомнения, вас рекомендовали как настоящего профессионала...

– Тогда в чем проблема?

– Понимаете, как бы вам сказать... мне бы не хотелось, чтобы потом, впоследствии, кто-либо подумал... связал случившееся...

– Грязи опасается?

– А кто ж ее не опасается? Нет, нет, я вам доверяю, конечно, доверяю, я просто хочу напомнить: ради бога, будьте предельно осторожны!

– Благодарю за заботу. Постараюсь.

– Уж постарайтесь. В конце концов, вам и платят за старание! И за скорость! Когда?

– Ждите и воздастся.

– Бумаги! Ради бога, не забудьте о бумагах, это очень и очень важно! Это... это самое главное. Точнее, самое главное после того, о чем мы с вами говорили.

– Не забуду.

История первая. Снежная королева, или Зачарованный Кай и бомбы для вечности

*Он был титулярный советник,
Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь...*

Фрол Савельевич Перепелочкин поморщился, но сугубо мысленно, ибо наяву никоим образом не желал давать повод для сплетен или же насмешек, каковые непременно будут: Филенька-то недаром романс затянул, небось желает подразнить старика, намекнуть, что сколь бы ни старался Фрол Савельич, сколь бы ни тужился на поприще научном, однако же выше головы не прыгнешь.

Так оно-то и без Филеньки понятно было, а посему пусть надрывается, пусть горланит, благо, хоть голос у бестолочи такой имеется, оно бы еще репертуар сменить, чтоб не про советника несчастного, а, скажем, про акацию белую или про очи черные, и вовсе бы замечательно было.

Попросить? Только этого и ждет, паскудник. И ведь сменит, вежливо, с улыбочкою, с извинениями-с, едва ли не с поклонами:

– Ах, простите, Фрол Савельич, дурня, неподумавши... но уж больно хорош романсик, прям– таки сам и просится.

*Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.*

Понасочиняют, попридумывают, сами не знают чего. Чиним своим Фрол Савельич гордился: да что уж тут говорить, IX класс, конечно, не коллежский ассessor и вряд ли когда станет таковым – потомственное дворянство запросто так не раздают, – но и не мелочь какая, вроде губернского секретаря или, прости господи, и вовсе коллежского регистратора. Нет, все, что судьбою дадено было, Фрол Савельич сполна использовал, а большего и не просил.

*Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь,*

Это Филеньке хорошо – еще в колыбели при чинах ходил, и нынешнее его положение – суть результат труда предков, к каковым, однако, Филенька ни малейшего почтения не испытывает. Ну и бес бы с ним, иродом, ведь безвреднейшее по сути своей создание, никчемное – сними партикулярное платье, пустота одна останется – но вот свербит, грызет червячок от такой несправедливости жизненной.

*И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.*

Замолчал, стрельнул шалым черным глазом, рукою по кудрям провел и только тогда с ехидцею поинтересовался:

– Фрол Савельич, я вам не мешаю, случаем?

– Не мешаете, Филенька, не мешаете. Да и голос у вас хорош.

От похвалы неожиданной вспыхнул маком, засопел и тут же, взгрозившись локтями на стол, прямо на книгу раскрытую – знал, ирод, что подобное Фрол Савельичу ножом по сердцу, – следующий вопрос задал:

– Фрол Савельич, а поговаривают, что вам Станислава пожаловать хотят. Правда?

Слухи и вправду ходили упорные, и матушка, Степанида Павловна, признаться, весьма на них уповала, и даже тайком, как ей казалось, готовилась к действию, наводя порядки в шкапах и квартирах, шушукаясь с мастерицей, наставляя Аннушку и занимаясь прочими благоглупостями. Сам же Фрол Савельич к слухам относился с изрядной долей скептицизму. Нет, оно, конечно, могло такому случиться, что и вправду наградят, вот только... что дальше? Почетная отставка? Дорога молодым, каковые ничего-то толком и не умеют и уметь не хотят? Тихое угасание на дому или в поместье?

Нет, не хотелось Фролу Савельичу награды. Хотелось дальнейшей спокойной жизни, привычной в ее течении и беспокойстве, в малых хлопотах да суетах, в скромных мечтаниях – а как без оных-то – о следующем чине да заботах с Аннушкиным замужеством.

– Эх, умный вы человек. – Филенька вдруг вскочил, всплеснул руками, точно комара прибывая. – И батюшка мой так и говорит, учись у Фрола, пока можешь... а жизни не знаете!

Жизни не знает? Ну на этакий-то выпад и оскорбиться можно было бы. И Фрол Савельич оскорбился, надул щеки, вытянул шею, брови насунил, хотел было сказать уже, что при всем уважении к Филенькиному батюшке – а как тут не уважить действительного тайного советника – сам Филенька слишком юн, чтоб подобным рассуждениям предаваться.

– Ну не сердитесь, не сердитесь, дорогой вы мой, – Филенька подскочил к столу, согнулся в поклоне, мазнув рукой по пыльному половичку, ухватил за локоток. – А пойдемте-ка я вас обедом угощу, заодно и поговорим о делах наших... в заведение у Смирицкого сегодня ушщу архиерейскую подавать изволят, и пироги с зайчатинной, и еще, слышал, щуки фаршированные хороши, он их по дедову рецепту делает...

Фрол Савельич, хоть былое раздражение не ушло, успокоить себя позволил, и поднялся, и мундир, поданный Филенькой – с чего бы тому столь услужливым сделаться, – принял.

– А еще грибочки в сметане, заячьи почки с луком – тоже всенепременно попробовать рекомендую, с наливочкой. Какие там наливки! – Филенька закатил глаза, зачмокал, ставши похож разом и на артиста, и на юродивого с паперти. Ох бес, не зря к Смирицкому тянет, не про жизнь разговор пойдет, а... про что? Неужто не зазря тут Филенька объявился? Неужто не по собственному почину, не развлеченья ради третий месяц хвостом ходит, душу изводит? Неужто по батюшкиному велению с прицелом на...

Фрол Савельич из кабинету выходил в превеликой задумчивости, боязно ему было и в будущее заглядывать, и в прошлом остаться на веки вечные титуляшкою ничемным, итуляром при ордене.

Заведение Смирицкого зазря называли кабаком, потому как если тут и был кабак, то во времена дикие, стародавние, когда все едальные дома были шумны, грязны и в представлении Фрола Савельича полны всякого рода непристойностей. Так ли это было на самом деле, он, конечно, не знал, да и не задумывался, признаваясь, отдавая мысли проблемам иным, куда более насущным. Однако же теперь, глянув на солидное, пузатое, о двух колоннах здание, подивился, до чего не соответствует оно вывеске: на старой, поточенной доске белой краской было выведено: «Кабакъ». И пожалуй, эта вывеска оставалась единственной данью прошлому, этаким знаком сыновней почтительности и родовой преемственности.

– Бывали-с? Мой папенька говорит, что французы, конечно, толк в еде знают, но до Смирицкого им далеко, – Филенька по-прежнему придерживал Фрола Савельича под локоток, будто барышню какую, и от этого было неудобственно.

Мордастый холоп, поклонившись, открыл дверь, заговорил чего-то про гусиную печень, но по знаку Филеньки замолк, вытянувшись стрункой. Внутри сытно пахло едой и дразняще – духами, доносилась музыка, полуприглушенный людской говор да время от времени – крики.

Лакей принял мундиры, провел на второй этаж, и Фрол Савельич почти убедился в своих подозрениях. Раз Филенька не желает в общую залу идти, а кабинету затребовал, значит, разговор предстоит приватный и серьезный. И вряд ли дело тут лишь в желании подразнить старика.

– Фрол Савельич, вы на меня не смотрите, вы заказывайте, заказывайте... Пить чего станете? Квас? Вино? Есть пиво баварское, но, говоря по правде, мерзость, то ли прокисло, то ли сразу таким было. Рекомендую вот настоячку на липовом цветке, зубровочка тоже хороша... или анисовой? Анисовой? Емельян, слышал? Неси анисовую и поскорее. А к ней... ну для начала ушцы архирейской, блинов гречневых заварных, грибочки пряженные тоже запиши...

– Помилуйте, Филенька!

– Фрол Савельич, не смейте мешать! Еда – дело серьезное, вот и мой папенька так думает, а еще очень он зайчатину уважает. Да, вот жаркое из зайца с можжевелником, икорочки там, закусок всяких. И пошустрее, пошустрее!

По тому, как лакей метнулся выполнять Филенькин заказ, видно было, что в заведении этом сын тайного советника хорошо знаком. Снова кольнула зависть.

Чтобы не смотреть на Филеньку, Фрол Савельич огляделся. Кабинет, куда их провели, был невелик и обставлен довольно скромно: ни тебе позолоты, ни парчи, ни панелей дубовых, ни статуй мраморных да фонтанов, каковыми итальянская ресторация славится. Наоборот даже, в простоте комнаты чудилось нечто казенное. Стены обтянуты добротной зеленой тканью, круглый стол хоть и сработан на совесть, но все же явно из местных мастерских, как и массивные, неуклюжие, но весьма удобные стулья.

– Ох, Фрол Савельич, вы уж не подумайте, что я папенькиными деньгами перед вами хвастаюсь... Хотя чего уж тут, как есть они не свои, не заработанные, – Филенька сказал это с такой горечью, что за недавние мысли стало совестно. Разве же виноват мальчик, что выпало в графской семье родиться? И разве виноват Фрол Савельич, что его собственный отец из простых да и то ума невеликого был?

– Вы думали, что я над вами насмехаюсь, а мне я сам смешон был. Титулярный советник – посмотрите на меня, какой из меня советник? Ну да, это временно, папенька вон пророчит карьеру, и даже не пророчит, он уже ее сделал. И себе, и мне... если сумею, то поднимусь выше, но ниже, чем им поставлено, – нет. Вот тошно от этого.

Говорил он запальчиво, то и дело срываясь, и рукой махал, разрубая слова и фразы, но стоило войти лакею с подносом, как сразу замолк, нахохлился, втянув голову в плечи. Сел на стул, молча принял рюмку, опрокинул и тотчас расцвел прежней, слегка придурковатой улыбкой.

– Что же вы, Фрол Савельич, не кушаете? Ушцы да под водочку, что может быть лучше? Пробуйте, пробуйте, нигде такой ухи не подают, даже у самого архирея.

Заливистый смех, корочка хлеба, сминаемая сильными пальцами, жирная, желтоватая уха, которая пахнет так, что мысли мигом исчезают из головы.

Эх молодежь, все им не так, все им не ладно.

К счастью, пока ели уху, Филенька словесными экзерсисами не баловался, не отвлекал. А вот когда принесли зайчатину и остальное – много, много больше того, чем Фрол Савельич мог бы съесть, – нарушил молчание.

– Я вас сюда позвал ради встречи с одним человеком, который... с которым вам надо поговорить. Извините.

– За что?

Филенька лишь рукой махнул, но вяло. Поднялся, шаркая ногами, добрал до окошка, прикрыл ставни так, что единственным источником света в комнатухе осталась масляная лампа, стал у стены.

Вот тут Фролу Савельичу стало совсем уж не по себе: не тот человек тайный советник Дымовский, чтоб от людей прятаться.

Додумать не вышло: дверь открылась, по полу потянуло сквозняком, а ноздри щекокнул запах дыма и духов, дешевых, сладких, приторных.

– Добрый день, – глухо сказала женщина в черной накидке. – Я не опоздала?

– Судьба никогда не опаздывает, – с театральным пафосом отозвался Филенька.

Фрол Савельич счел за лучшее промолчать, ситуация становилась непредсказуемо опасной, миг мелькнула трусоватая мыслишка сбежать, пока вслед за мамзель революционеркою в кабинете не объявились жандармы, и другая – подловатая, самому оных жандармов затребовать. Но вместо этого Фрол Савельич наколот на вилку скользкий гриб и, отправив в рот, запил холодной анисовой.

Он был титулярный советник,

Он был титулярный советник,

Она – генеральская дочь...

Ох уж эти детки, небось не догадывается Филенькин папа о сыновних-то увлечениях...

– Здравствуйте, – громким шепотом произнесла гостья, отбрасывая густую вуаль шляпы. Теперь стало заметно, что она отнюдь не молода, хотя и старой назвать ее было бы преждевременно. Скорее уж она пребывала в той мимолетной стадии жизни, когда женская красота раскрывалась во всем своем великолепии.

Хороша была незнакомка. Классический овал лица с чуть длинноватым носом. Узкий рот и округлый, мягкий подбородок, на котором уже обрисовалась складочка-треицинка, свидетельствующая о скором появлении подбородка второго. Глаза огромные, ведьмовские и цвету неясного – не то серый, не то блекло-голубой. Но глянешь – и утонешь, как Филенька.

Фрол Савельич моргнул, прогоняя наваждение. Оно, конечно, хороша барышня, да только он не юнец глупый, чтоб за ради этой красоты обо всем забыть.

– Что, нравлюсь? – спросила с вызовом и ресницами повела, повернулась, позволяя разглядеть точеный профиль. Знает о красе своей, пользуется, бережет. Откуда она такая взялась на Филенькину-то беду? И что теперь Фрол Савельичу делать прикажете?

– Нравилась, – он не стал отнекиваться. – Еще как нравилась.

Филенька у окна дернулся – видать очень не по душе ему пришлось это признание, – но сдержался, только засвистел знакомый мотив:

Он робко в любви объяснился,

Она прогнала его прочь.

Прогнала, как есть прогнала, если б приласкала, глядишь, и не было бы мыслей дурных, а так – держится у подола собачонкою, на все готовый ради улыбки ласковой. Попросит – голову отдаст. А она попросит, всенепременно попросит, за минуту до того, как он, повзрослевши, окончательно ее разлюбит.

– Как звать-то? – Фрол Савельич душил в себе злость, уговаривая, что чудится ему, старому, недоброе, что на самом-то деле все иначе, а он – глупец и зануда.

– Эстер.

Врет. Кличку назвала, но не имя, хотя, с того и легче, меньше знаешь, как говорится...

– А я вас совсем иным представляла. – Она присела, поставила локти на стол, подперла кулачком подбородок: черное кружево, белая кожа... есть ли в Эстер хоть что-то ненаигранное? – Более древним... Филипп вами восхищается, но мы ведь знаем, он молод, а в этом возрасте сложно отличить истинное от ложного.

– Сложно, – согласился Фрол Савельич. Филенька только хмыкнул.

– И я вот вижу, что вряд ли мы с вами договоримся...

– Смотря о чем договариваться станем. И с кем. К примеру, скажите, любезная, кого мне надлежит понимать под словом «мы»?

– Людей, которые жаждут для страны иного будущего! – выпалил Филенька.

– Да, верно. Нам не безразлична Россия. Великая Россия, которая ныне тонет в нищете и убогости, в бюрократизме и слепоте правящих, в бессилии народа и...

– И вы желаете переменить сие? Каким образом, позвольте узнать? – руки начали дрожать, и Фрол Савельич благоразумно спрятал их под стол.

– Радикальным! – она слегка картавила, но недостаток сей проявлялся, видимо, лишь в минуты сильного душевного волнения, как вот теперь, когда буква «р» практически исчезла, и получилось слово «адикальным».

Смешное слово.

– Бомбисты, значит.

– А если и так! Если для того, чтобы пробить щит равнодушия, нужна кровь...

– Чья кровь, Филенька?

– Сатрапов, которые душат народ, высасывая из него последние силы! Да, некоторым предстоит умереть...

– Многим, Филенька, а не некоторым. Террор никогда не удовлетворялся малой жертвой... сначала вы стреляете, потом взрываете бомбы, потом... кто знает, что будет потом? Но вряд ли чего-то хорошее. Извините, мадемуазель, но нам с вами точно не по пути, – Фрол Савельич собирался было встать, когда в руке дамы возник пистолет. Крохотный, дамский, с виду совершенно безобидный.

– Сядьте.

Выстрелит. Пожалуй, теперь Фрол Савельич со всею определенностью мог сказать, что было в Эстер настоящим: ненависть. Затянуло-заволокло серые глазищи грозовой чернотой, молниями зрачки полыхнули, расплылись, раздались, вытесняя все разумное, человечье. Вот и не женщина перед ним – волчица стальная, девка каменная, Дева Ледяная. Вот тебе и титулярный советник.

Пошел титулярный советник

И пьянствовал с горя всю ночь.

Одна надежда – у Смирицкого стрелять не станет. А поведут вниз, так и надежда будет.

– Эстер! Не надо! Он... он нас не выдаст... он не доносчик... он просто заблуждается. Ты сама говорила, что люди часто заблуждаются, это не их вина...

Пистолет исчез. Эстер поднялась и молча вышла. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, состоялось свиданьице. Состоялся разговор. И думай, Фролушка, что делать теперь, как спасти дурную голову птенца желторотого...

Филенька сел за стол, плеснул анисовой в стакан и, опрокинув одним глотком, даже не поморщился.

*И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.*

– Какая смешная у него песенка, – сказал мальчик, зевая.

Тень ласково обняла его крыльями, поцеловала в макушку и сказала:

– Смешная.

– И место смешное. И одеты они смешно. И разговаривают также. Почему они разговаривают, а я понимаю?

– Потому что ты особенный.

– Я знаю, – мальчик подумал, стоит ли рассказать новой знакомой о знакомых старых. – Бабушки-богомолицы тоже говорят, что я особенный, что я очень умный и поэтому скоро умру. Боженька заберет меня к себе.¹

Тень ничего не ответила. Порою Тени бывают молчаливы.

Все было совсем не так, как она себе представляла, и это злило Ольгу, не просто злило: приводило в ярость, иступленную, ослепляющую, лишаящую рассудка.

Скотина! Нет, ну какая же он скотина! Тварь! Ублюдок!

– Что вы сказали? – маникюрша удивленно воззрилась на клиентку.

– Ничего.

Хотелось вцепиться девице в волосы, в лицо, оставляя на коже красные полосы – следы, пнуть, заорать, запустить в зеркало расческой и мраморным светильником.

Стало немного легче, отпустило, позволяя вдохнуть. Чертов урод! Вот взять и просто так выставить ее за дверь, как какую-нибудь шлюху? С шофером вещи прислать? И ключ потребовать? Ключ Ольга швырнула холую в лицо: благо, запасливо сделала копию. Вещи убрала в шкаф, хотя была мыслишка изрезать, облить бензином и сжечь, лучше всего на крыше ряховского «мерса», но, во-первых, вещей жаль, во-вторых, еще не время.

Надо что-то делать...

– Вам как сделать? Как обычно или...

– Как обычно, – оборвала Ольга девицу.

Та поморщилась и не дала себе труда скрыть раздражение. Неужели все? Нет, быть того не может, у нее просто день плохой или голова разболелась, в этом дело, а не в том, что Ольгу совсем скоро вычеркнут из списка VIP-клиентов.

У тех, кто работает с ВИПами, голова не болит, они всегда милы и предупредительны, они чутки к малейшим изменениям статуса и не стесняются показать, что видят, когда кто-то падает.

Падать Ольга не желала. Слишком долго она шла вверх, слишком мучительно и слишком мало времени осталось, чтобы можно было не думать о будущем. А без Ряхова, как ни крути, будущее печально...

¹ В юности Андерсен часто бывал в приюте для безумных, где находился на излечении его дед. Приютские старухи очень любили мальчика и часто повторяли ему, что он очень умный и потому скоро умрет. Андерсену льстила подобная исключительность.

А значит, Ряхова нужно возвращать. Вопрос: как? Гнев на него не подействовал, следовательно, придется искать иные варианты. И потому, покинув спустя час салон красоты, Ольга отправилась не домой, а на свидание с человеком, знакомство с которым могло изрядно повысить ее шансы в предстоящей борьбе. Конечно, требовал он за услуги немало, но этот Париж стоил обедни...

Он сразу ее узнал, да и мудрено было бы не узнать этот покатый лоб с дужками бровей, и длинноватый тонкий нос, крылья которого нервно подрагивали, словно она приножила и к кабинету, и к нему, Ряхову Ефиму Павловичу, и черную родинку над губой, и острый подбородок со второй родинкой, совсем-совсем крошечной: если не знать, не заметишь.

А он заметил. И узнал. И расстроился: теперь, повзрослев, она изменилась. Нет, не стала хуже, как это случается порой, не стала и лучше – до красавицы ей было далеко. Она просто стала другой. Исчезла та хрупкость, что некогда завораживала его, а осталось... пожалуй, осанка осталась. И прическа. И манера смотреть чуть искоса, избегая прямых взглядов. Но в остальном...

Разочарование.

Ряхов разочаровываться не любил, поэтому нахмурился и буркнул:

– Садитесь. Зовут как?

Он уже знал, что зовут ее Дарьей, что лет ей двадцать девять и образование высшее, художественное. Что она разведена и детей нет. Что владеет английским – со словарем – и французским – свободно. Что умеет пользоваться компьютером на уровне пользователя и... в общем, он знал достаточно, чтобы выставить ее вон, но медлил.

– Дарья, – сказала она. – Я... понимаете, я понимаю, что у меня опыта нет и...

И ничего у нее нет – ни внешности, ни образования, ни опыта. Характер вот есть – смотрит прямо, с вызовом даже, с обидой, словно он сделал что-то этакое, за что должно быть стыдно. Или собирается сделать? Нет, не собирается, нет у них ничего общего, если и было, то в прошлом.

Да, именно в прошлом, среди гор, которые седовато-синие или зеленые, или черные на розовом предраассветном, водянисто-красном. Среди страха, каковой запикиваешь поглубже и от себя, и от других – стыдно, если заметят. Среди одиночества...

А она говорит и говорит. Губы шевелятся, но вот странность – ни звука не долетает, точно кто-то свыше, не желая отвлекать Ефимку, выключил все органы чувств. И он просто смотрит на губы, на лоб, собравшийся мелкими складочками, на выгибающиеся брови. И на то, как глаза – темно-зеленые, ведьмовские – вдруг загораются ярко-ярко.

Раньше казалось, что глаза у нее синие. Или серые. Но точно не зеленые.

– Ты еще танцуешь?

– Что?

Он снова обрел способность слышать.

– Танцуешь, спрашиваю? Ты ж вроде из балетных.

Вспыхнула. Что не так? Или карьера не сложилась? Скорее всего. Надо было найти ее сразу, когда вернулся, найти и увидеть, что сказок все-таки не бывает, избавиться наконец от остатков надежд и, повзрослев, вылечить от прочего.

Да, именно поэтому он ее еще не выставил: ему нужна помощь.

– Уже нет. А... а мы знакомы? – удивление. Она совершенно не умеет прятаться от людей, лицо живое, читай – не хочу. Он не хотел, но читал, вглядывался, выискивал приметы, которые бы привязали эту женщину к той девочке, из прошлого.

– Ефим я, Ряхов. В соседнем доме жил. А вы переехали, – прозвучало обиженно, а когда она повела плечом, нахмурилась, вспоминая, обида усилилась. Ефиму казалось неправильным, что его можно просто так взять и забыть.

Вычеркнуть.

Прости, пойми, не дождалась, ты еще встретишь настоящую любовь... нет, в письме было иначе по словам, но смысл похож.

– А ты курил, – вдруг сказала Дарья, расплываясь улыбкой. – Курил! Все боялись, прятались, а ты прямо у подъезда! И папа еще говорил, что тебя драть надо, иначе человека не выйдет!

– Драли, – признался Ефим. – Вот и... вышел?

– Вышел... а я... в балете была... а потом... – с каждым словом она говорила все медленнее, наливаясь темно-багряным, стыдливым, и глаза опустила.

– Не сложилось?

– Да. Не сложилось. Вот, работу ищу. А ты, значит, начальником?

– Ага.

Дарья вдруг вскочила, прижала сумку к груди и попятилась.

– И-извини, я... я понимаю, что не могу претендовать, я просто подумала, что, возможно, не так и...

– Сядь, – приказал Ефим. Не подчинилась, упрямо мотнула головой, пригладила выехавшую из гладкой прически прядку, но остановилась хотя бы. Сопротивление злило. – Ты и вправду претендовать не можешь. Мне реальный человек нужен. Знающий. Такой, который разбирается в бумагах, а не...

Хотел добавить неприличное, но сдержался.

– О делопроизводстве ты, конечно, и слышать не слышала. И стенографировать не умеешь. И печатаешь двумя пальцами. А с грамотностью как?

– Никак, – огрызнулась она, выставя сумочку вперед, этакая попытка защититься. Смешно.

– Вот, никак. Тогда скажи мне, чего ради я должен взять тебя на это место?

Не у нее спрашивал – у себя. И сам себе ответил: чтобы с ума не сойти, чтобы горы исчезли окончательно, из снов, из миражей, из мыслей вообще, чтобы снова, как раньше, когда легко, когда портвейн сладок и сигаретный дым пьется, что чертово коллекционное вино. Когда вся жизнь впереди, а позади – ни потерь, ни сожалений.

Чуда не будет. Но ведь попытаться можно?

– Секретарь из тебя выйдет фиговый, – Ефим поднялся, с удовольствием отмечая, как меняется она – прежняя краснота погасла, уступая место смертельной бледности. И то прошлое, живое лицо застыло, превратившись в маску.

Так даже лучше, чем скорей он избавится от иллюзий, тем быстрее выздоровеет.

– Алло? Извините, мне вас Софья порекомендовала. Сказала, что вы ей помогли. Очень помогли. Понимаете?

– Слушаю.

– Мне... я тоже нуждаюсь в услугах. Аналогичных. Цена известна и...

– Пишите адрес.

– Но вы гарантируете? Софья сказала, что гарантируете. И сроки. Мне бы пораньше записаться. Не поймите превратно, но я спешу.

– Все спешат. Пишите адрес. Сегодня. В десять. При себе фотографию объекта.

На рабочее место Анечка вернулась за десять минут до окончания законного, трудовым законодательством и уставом фирмы гарантированного обеденного перерыва. Она плюхнулась на кресло, которое привычно скрипнуло; наклонившись, сунула фирменный пакет – ужин обещал быть незабываемым – в нижний ящик стола, наскоро пригладила растрепавшиеся волосы щеткой и только после этого соизволила окинуть взглядом приемную.

Пусто.

Исчезла и девица в клетчатых колготках, и вторая, кобылообразная, и Ефим еще не вернулся – неужели? Нет, на такое везение Анечка не рассчитывала, но все же... она поднялась, осторожно подкралась к двери, постучала, хотя уже разглядела в зазоре между дверью и косяком черный язык замка. Подергала за ручку.

Заперто! Она ждала этого момента, она надеялась, она задерживалась на работе, втайне уповая, что вот-вот подвернется подходящий случай, и столь же тайно, трусливо радовалась, что случай не подворачивается. И вот, пожалуйста...

...пожалуйста, солнышко, ты же понимаешь, что я не могу уйти просто так. Софочка отберет все, о чем знает, значит – что? Умничка, значит, нужно сделать так, чтобы знала она не обо всем. Мы не можем нищенствовать, ты достойна лучшего, и я позабочусь об этом. Ряхова боишься? Не надо, сама подумай, что он тебе сделает?

Анечка застыла. Анечка вдохнула глубоко-глубоко, сказала себе, что, выдохнув, решится, но выдохнула и не решилась. Ее словно напрочь лишили сил и воли, оставив только суетливые мысли и мурашки по животу: это еще со школы предупреждение, что вот-вот случится нечто страшное, необратимое.

Но громко тикали часы и ничего-то не случилось.

Нужно действовать. Сейчас. Глупо упускать такой момент! Она ведь обещала сделать сегодня, ведь такая малость, по сути: зайти и поставить... Всегда можно соврать, что цветы поливала...

Уборщица цветы поливает, у Ефима нюх на вранье, а у Марика – жена. Именно мысль о ней, престарелой, темнолицей Софочке, которая самым существованием своим мешала Анечкиному счастью, придала решимости.

Анечка вернулась к столу, достала из сумочки крохотный коробок, а из него – черный комок пластика. Следом, из верхнего ящика – ключ.

– Он на мне женится, – повторила она шепотом. – Обязательно женится.

Поворот ключа, едва слышный шелчок, тишина – Анечка прислушалась к звукам извне. Вспотевшая рука соскользнула с тугой ручки, но вернулась, нажала, толкнула и задрожала от протяжного скрипа.

Пусто. Конечно, пусто, кто может быть в кабинете за закрытой дверью? Анечка сдавленно хихикнула, сделав первый шаг по мягкому ковру. Второй шаг дался легче, не говоря уже о третьем. Вот и стол. И куда? Под столешницу? К компу? Или вообще к цветочному горшку с хилым деревцем, которое Ефиму приперли не то из Японии, не то из Китая?

Деревце слабо дрожало, хотя воздух в кабинете был неподвижен. И пахло странно. Или нет, запах – сладко-карамельный, с ореховым оттенком – исходил не от китайской сосенки, а от кресла. Огромное, с широкой спинкой и высокими подлокотниками, обтянутое щегольской кожей цвета «винный пурпур» – Анечка в накладной подсмотрела – скорее напоминало трон. А резные, вызолоченные накладки по бокам лишь усиливали сходство.

Но прежде кресло пахло кожей, как и положено, а не ореховой карамелью.

И стояло не так, не боком... В животе похолодело.

Он полулежал, съехав набок, так, что лысоватая голова легла на плечо, а газета, которую он держал в руке, упала на колени. Прямые ноги, зимние ботинки с трещинами и черными пятнами краски, белые носки, исчезающие под короткими штанинами, серый пиджачок, что держался на одной пуговице и растопыривался, открывая розовую рубашку и пузырьки живота. Открытые глаза. Удивленные глаза. Мертвые глаза.

Анечка, ойкнув, отступила к двери. Ударилась об угол стола, и эта случайная боль вернула сознание: человек, сидящий в кресле, был ей незнаком.

Анечка закрыла рот руками, сдерживая крик.

– Не глупи! Да ничего не будет! Солнышко, ну в самом-то деле... нет, послушай меня! Заткнись и послушай. Ты сейчас где?

– Здесь.

– Где «здесь»? В приемной?

– Д-да.

– Хорошо... погоди, а он в его кабинете?

– Д-да... я не знаю! Там дверь была закрыта, и я подумала, подумала, что... удачный момент.

– Поставила?

– Н-нет. Я хотела! Честно хотела, а потом увидела. И... он у-у-умер!

– Успокойся. Это хорошо, что ты не успела поставить, сейчас это лишнее. Трогала что-нибудь? Хотя не важно, ты ж секретарь, отпечатки будут. Должны быть.

– К-какие отпечатки!

– Твои. Анечка, солнышко мое, сейчас постарайся выслушать спокойно. Вот что ты сделаешь...

Дарья рассматривала его искося, очень надеясь, что любопытство ее не будет замечено, а если все-таки будет, то его спишут на естественное желание рассмотреть поближе старого знакомого. Но вот беда: человек, назвавшийся Ефимом, был ей незнаком!

В нем не осталось ничего от мальчишки, дежурившего под подъездом в компании таких же сорванцов – мама называла их хулиганьем, папа выбирал слова покрепче. У того, прошлого Ефима, был упрямый подбородок и длинная светлая челка, которая падала на глаза. У этого, нынешнего, стрижка короткая, а глаза – не ледяные даже, не мертвые – жизнь-то в них имеется, но иная, чужеродная, сродни существованию камня. Когда-то Дарья читала книгу о том, что камни тоже живут, но очень медленно и как бы сами в себе, в ограниченной, каменной вселенной. Этот человек, который, несмотря на все Дарьины недостатки, принял-таки ее на работу, был сделан из камня.

Из серого гранита, скучного и универсального, который с равным успехом идет и на монументы, и на плиты могильные, и на облицовку зданий. Или вот на людей.

Шар-голова на широких плечах, руки-колонны, пальцы-обрубки. И лицо грубое, вытесанное, но не выглаженное шкуркой, а оттого черты вроде бы и правильные, но лишенные и тени благородства, свойственного каменным героям. Высокий лоб и нос с горбинкой, плоские скулы и резкие губы, квадрат подбородка с ямкой-выбоиной.

Нет, не знала Дарья этого человека. И знать не хотела, и не понимала, отчего согласилась на работу. Или побоялась перечить? Каменный взгляд парализовывал, голос лишал остатков воли.

– Что не так? – Он сжал вилку в руке, и Дарья испугалась, что он сейчас ее сломает. Или швырнет. В нее никогда ничем не швыряли.

– Н-ничего.

– Ешь. Или ты на диете?

– Нет. Да.

– Так нет или да? – Он отложил вилку. – Тебе не хватает веса.

Вот так. А милейший директор считал, что, наоборот, весу в Дарье слишком много, и поэтому уволил. А если бы не уволил, она бы по-прежнему изнывала в театре, цепляясь за остатки надежд и отчаянно завидуя тем, кто пробился в первый состав.

Дарья решительно вонзила вилку в отбивную.

– Больше мы обедать вместе не будем. Мне не нужны слухи. – Ефим пристально наблюдал за ней, фиксируя каждое движение, каждое слово в глубинах каменной вселенной. Дарья

постепенно привыкала, все-таки не было в этом внимании любопытства, скорее уж привычка наблюдать. А привычки есть у всех.

Мясо вот остыло. И в салате с приправами переборщили.

– Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о нашем с тобой знакомстве.

– Хорошо, – Дарья хотела добавить, что и знакомства-то как такового не было, их не объединяло ничего, кроме нескольких случайных встреч в далеком прошлом.

– Я рад, что мы друг друга поняли. Мне приятно будет тебе помочь.

Официален и официозен, но... врет? Зачем ему врать? Или Дашке кажется? Конечно, кажется, она просто-напросто никогда прежде не встречалась с типами, подобными ему. И хорошо. Иметь дело с камнем жутковато.

Зазвонил телефон, и Ефим поднялся. Не хочет говорить при ней? Стесняется? Нет, похоже, просто не привык разговаривать сидя. Описав полукруг, он оказался за Дарьиной спиной – не оборачиваться! Все нормально, все хорошо – и пророкотал в трубку:

– Алло? Да. Слушаю. Что? А кто это говорит... аноним? Знаешь, что... – ноты угрозы, ноты грозы, которая приближается черным валом и совсем скоро накроет с головой, хорошо если Дарью обойдет стороной.

– Что?! – взревел Ефим и, схватив Дарью за плечо, дернул так, что она едва со стула не слетела. – Вставай. Быстро.

Встала, судорожно сглотнула непрожеванный кусок мяса, тотчас застрявший в пищеводе, а Ефим, кинув на стол пару купюр, уже тащил ее к выходу из кафе.

Стыдно. Люди, верно, думают, что он – ее муж. И сочувствуют.

– Да я тебе... – рывкнул Ефим и, чертыхнувшись, убрал трубку в карман. Добавил в сердцах: – Сволочи!

– Кто? – осмелилась подать голос Дарья.

– Да никто. Не важно. Идем.

Он почти бежал, в машину прыгнул, как в танк, и только Дарья успела нырнуть на заднее сиденье, захлопнув дверцу, сорвался с места.

Что-то случилось. Что-то очень и очень нехорошее.

– Тут такое... в общем, если что, подтвердишь, что я с тобой был. Понятно?

– Когда?

– Что когда? – Он даже не обернулся, глядя прямо перед собой, но Дашка была уверена – видит.

– Когда ты со мной был?

– Сейчас! Сейчас я с тобой был. Обедал. Твою ж... нет, ну шутники!

А вот и офис: пятнадцать этажей цвета чахоточной зелени, тонированных стекол и блестящих, прозрачных лифтовых шахт.

– Выходи. Иди за мной. Пока не скажу, рта не открывай.

Да что он себе позволяет, в конце-то концов?! Она не рабыня! Она... она и контракта не подписала и подписывать не будет, не так ей эта работа и нужна.

Дверь входную придержать и не подумал, ворвался в холл вихрем, лавиной. Охранник, до того подремывавший за стойкой, вскочил, снова сел, открыл было рот, желая поприветствовать начальство, и закрыл, ибо начальство изволило пребывать в состоянии крайнего раздражения.

Первый этаж. Второй. Про лифт и не подумал. Шаги разносились по лестнице и терялись где-то вверх. На третьем потянуло дымом. Ряхин, остановившись, вдохнул и бросил, не оглядываясь:

– Найду, кто курит, урою.

Дарья поверила. А он уже бежал дальше. Знакомый коридор, узкий, среди высоких стен, выкрашенных в бледно-зеленый. Коричневые прямоугольники дверей и редкие картины.

А вот и его собственная приемная. В ней пустота... нет, не пустота, просто плечи Ефима закрывали обзор, поэтому Дарья не сразу увидела человека, который сидел на стуле и листал журнал.

– Что ты тут делаешь? – не слишком вежливо поинтересовался Ефим.

Человек, отложив журнал в сторону – надо же, совсем не испугался начальственного гнева, – поднялся. Был он невысок, а рядом с Ефимом и вовсе казался карликом; темноволос, сутуловат и странно неприятен.

Дарья вздохнула. Знала она за собой подобную особенность: спешку в оценке людей. Вот и сейчас, исподволь разглядывая незнакомца, она старательно выискивала детали, которые оправдали бы неприязнь.

Колечко в ухе, массивные перстни на руках, в великолепии которых меркнет скромный ободок обручального кольца. Часы, нарочито съехавшие почти на ладонь, чтобы всем была видна марка: достаточно известная и в то же время престижно-демократичная.

– Представляешь, зашел вот, а тут Анечке плохо, – голос у человека низкий, урчащий. – Бедная девочка...

– Уволю, – не слишком уверенно буркнул Ефим, обходя незнакомца.

– Не уволишь. Куда тебе без нее? И девочка-то хорошая. А что с желудком беда, так мало ли... я и сам вот грешен. И вообще, терпимее надо к людям быть. Я ее домой отправил. Ты ж не против?

– Против.

Карлик пожал плечами и, подмигнув Дарье, весело поинтересовался:

– А ты-то чего такой смурной? Или, может, и у тебя проблемы? С пищеварением?

– Марик!

– Ну мало ли, я ж так, а вдруг да инфекция... ладно, – он посерьезнел в момент. – Хорошо, что ты пришел, а то я уже и звонить собирался. Тут по делу одному поговорить бы надо, или ты занят? Девушка, отпустите кавалера, верну целым и невредимым.

– Это мой помощник. Новый. По делам.

Марик тотчас поклонился, приложился к ручке, при этом по взгляду его, враз ставшему масленым, Дарья поняла: зачислили ее отнюдь не в помощники. Точнее, не только в помощники.

Бежать отсюда.

– Марик, оставь ее в покое. Иди сюда. Смотри. – Ефим вытащил из кармана связку ключей.

Щелкнул замок, беззвучно отворилась дверь, но Ряхов не спешил войти в кабинет. Он замер на пороге, подавшись вперед и вытянув шею, словно желая разглядеть что-то внутри. Интересно, что?

– Чего там? – озвучил Марик Дашкин вопрос. И протиснулся между косяком и Ряховым. – Ничего. Пусто. А ты, брат, параноик.

Только тогда Ефим вошел. Дарье было видно, как он осторожно, крадучись идет по стенке, потом, добравшись до окна, разворачивается и повторяет маневр.

– Ненормальный, – хмыкнул Марик. – Что с тобой, Ефимушка? А вы, девушка, не стойте, не стойте. Пальтишко снимите и сготовьте-ка нам кофейку. Умеете?

Дашка кивнула.

– Вот и ладненько. Ефим, если ты объяснишь, что с тобой происходит, то я смогу помочь.

– Здесь должен быть труп, – отозвался Ряхин, остановившись.

– Ну ты... нет, я все, конечно, понимаю, но... давай Громова позовем? А что, если труп, то это по его части... девушка, не стойте столбом! Разденьтесь и вызовите Громова.

– Не надо. Это шутка была. Наверное. Трупов нет.

– Не надо Громова, – спокойно согласился Марик, – но раздеться все-таки нужно. И кофейку... Ефим, она вообще разговаривать умеет? Или ты глухонемую нанял?

– Умею, – обидевшись, сказала Дашка. – И кофе сделаю. Сейчас.

«Сейчас» не получилось. Это из-за пуговиц все, из-за крупных желтых пуговиц, покрытых скользкой эмалью. Они туго входили в петли, а выходить и вовсе не желали, наоборот, прочно застряв, словно издевались над Дашкой, выставляя ее перед чернявым Мариком полной душой.

И Ефим смотрит. Ждут. Чего ждут? Шли бы в кабинет, решали важные и неотложные вопросы, а она уж как-нибудь сама... Ну вот, получилось. Еще одна, и последняя, теперь выпутаться из рукавов, содрать шарф, кое-как засунув его в рукав, – Ефим, кажется, улыбнулся – и...

– Шкаф вон там, – Марик указал в угол комнаты. – И стойка для посетителей.

Нет, ну что за тип. Неприятный. Скользкий. Гадкий. И даже очень гадкий. На обезьяну похож. Или на Пушкина в дурной репродукции, но Пушкин хотя бы гениальным поэтом был, Марик же...

Дарья так и не придумала, кем является Марик, – она толкнула дверцу, которая в продолжение неприятного дня все никак не поддавалась, а поддавшись, с тугим скрипом отъехала в сторону. И на пол с глухим стуком выпало тело.

Выпросталась, легла на ковер рука с разноцветными браслетиками, а в Дашины колени ткнулась голова. Дашка шагнула назад, еще не пугаясь, еще не понимая, как эта знакомая-незнакомая, рыжеволосая и модная, в сетчатых колготках, в сапожках на шпильке и коротенькой курточке, оказалась в шкафу.

– А труп все-таки есть, – задумчиво протянул Марик.

Дарья завизжала, теряя сознание.

Против опасений и ожиданий та давешняя встреча не имела последствий иных, кроме затянувшейся Филенькиной обиды. Он ходил надутым, всем видом своим демонстрируя недовольство, уклонялся от разговора и вообще будто бы не замечал Фрола Савельича. Тот же ждал, тревожась и присматриваясь, выискивая малейшие приметы перемен, каковые могли произойти с взбудораженным титулярным советником Филиппом Дымовским. И это ожидание, как и любое иное, однажды подошло к концу.

Случилось это в три часа пополудни, когда громко, выдавая раздражение вошедшего, хлопнула входная дверь, затем заскрипели ступеньки, распахнулась и дверь вторая, та, что в кабинет вела.

– Фрол Савельич! – этот крик заставил вздрогнуть и самого титулярного советника, и старую седую ворону, что уж который день кряду устраивалась на подоконнике да наблюдала за людьми. – Фрол Савельич, она... она меня прогнала!

Полетели на пол шарф и модное кепи, следом мундир, что было и вовсе непозволительно, упал, обиженно звякнув, серебряный брегет.

– Ан... Эстер, – вовремя спохватился Филенька. – Эстер меня прогнала! Я не нужен ей! Я... я застрелюсь, повешусь, отравлюсь... зачем мне жить, если...

– Если вы умрете, она точно уж не сможет вас вернуть, – Фрол Савельич закрыл тетрадь, убрал черновик статьи, над которой работал в последние несколько дней, мучаясь ненужностью сего занятия, и предложил: – А давайте-ка, милый друг, прогуляемся. Погода хороша, в парке небось все пожелтело, люблю сентябрь, в октябре уже, знаете, не то совсем... слякоть, дождь, подагра просыпается. А вот сейчас – самое оно гулять.

Филенька отшатнулся, побелев, отступил, стукнулся спиной о стол, зашарил, пытается нащупать что-то.

– Экий вы нервозный, однако, а ведь должны бы понимать, что иным разговорам лучше вестись на свежем воздухе... – ложь, конечно, никто тут подслушивать не станет, но Филенька поверил. Кивнул. Поднял, неловко наклонившись, мундир, кое-как напялил.

– Вот и ладно, а то и вправду целый день в помещении да в помещении, вон, выбелели весь. Разве ж так можно?

– Она меня прогнала, – шепотом повторил Филенька, хватаясь за руку. – Прогнала, понимаете?

Прогнать прогнала, а отпустить не отпустила, что ж, это Фрол Савельич понимал прекрасно...

Гуляли по набережной. День и вправду выдался дивный, в меру солнечный и даже полетному теплый, хотя и без жары. Желтый солнечный шар, повиснув на крестах Новоспасской церкви, мешал лазурь с золотом, тени стелил коврами, тряс слепопуденной мимолетной зыбью воздух. В серой воде пруда плавали облака, желтые листья и утки, каковые, впрочем, все большие у мостков собирались гомонливою кучей, хлопаньем крыльев да громким криканьем требуя хлеба.

Хлеб бросали.

– Она... она сказала, что я слаб, что от меня в нашем деле... ну вы понимаете...

– Понимаю.

– Что от меня никакой пользы. Что батюшка мой – кровопийца и...

Филенька не глядел ни на уток, ни на таких же гомонливых, в одинаковом форменном оперении бонн и гувернанток, ни уж тем более на листья с облаками или солнце над церковью. Взгляд его был устремлен под ноги, точно Филенька боялся споткнуться.

– И я просил оказать доверие... требовал... а она... еще сказала, что я вас привел, а значит, как есть предатель, или будущий, или уже...

Замолчал, дернул шеей и руки под мышки сунул. Ох дурак, прямо-таки слов нет, какой дурак. Ему бы в церковь, свечку ставить, Господа да Пречистую благодарить, что сберегли от беды такой, а он сокрушается... доверие... велико доверие – людей поубивать и самому на эшафот.

– Разве ж это справедливо? – Филенька вдруг остановился, развернулся и, вцепившись в плечи, потряхнул. – Скажите, разве справедливо? Почему она со мною так?

– А потому, – захотелось ответить Фрол Савельичу, – что ты, Филенька, не просто революционер, а сын тайного советника, и разминать фигуру этакую на мелочи никак нельзя. Тут иной случай надобен, а для начала – привязать тебя, оболтуса, покрепче. Закрутить, задурить, заморочить голову, чтоб по малейшему слову ее в омут с головою.

Хотел, да не сказал, попросил вместо этого:

– Расскажи о ней.

Думал, что откажет – из ревности ли, из опасенья, что выспрашивает Фрол Савельич не для собственных нужд, а для охраны, но нет, Филенька заговорил:

– Мы с нею два года назад... в театре... нет, не в этом, тут ей делать нечего. Столица, Петербург, сцена... она блистала!

Актриска, значит, отсюда и фальшь, которой от Эстер несет – запах сцены.

– Я с первого взгляда... цветы послал. Корзину целую. И шоколаду. Вернула. Гордая оказалась... ну долго рассказывать, да и не интересно это... она особенная, Фрол Савельич! Такую только раз в жизни встретить можно.

И то, если не повезет. Но снова промолчал, только вздохнул сочувственно. А история-то препрошлейшая, обыкновеннейшая. Он добивается, она играет в крепость. Слова,

как орудия дальнего боя, сухие взгляды, шорох веера дробью по сердцу, порох-пудра и дразнящее кружево флагом, что вот-вот взметнется, белый, милости прося.

Филенька увяз в чужой игре, принял ее правила и, кажется, сам не понял, как стал одним из тех, кого прежде опасался. Он разделил ее идеи и мысли, как делят хлеб и вино, ненависть принял из мягких рук вместе с запахом духов, вместе с лаской приручения.

Нет, эти мысли приходили и уходили, а внешне Фрол Савельич оставался спокоен и притворно безучастен. Он поддакивал, укоризненно качал головой, тербил бородку и даже, случалось, вздыхал в моменты особо острые.

– Я сбежал. Я уехал, чтобы не видеть больше, не мучить себя, я... я думал – застрелюсь, я готовился, я даже завещание написал.

– И стихи, – поддакнул Фрол Савельич, подбирая с земли лист.

– И стихи. А откуда вы... да, точно, все пишут, прежде чем стреляться... ну да, да, вы правы, глупость это несусветная, и вот вроде бы понимаешь все, но оставаться сил нету! А потом она приехала! Представляете, сама!

И были признания, веры которым ни на грош; и были слезы, истерзанные цветы и поцелуи, и кружево на полу.

– Она ведь тоже меня любит. Ведь любит же? – Взгляд ищущий, пытающийся уловить ответ в глазах иных, в своем отражении в них. – Конечно, любит, иначе... а я ее подвел. Я... я просто подумал, что должен быть другой путь, что я мог бы... что если разрабатывать программу... карьера... прожект...

– А ей прожекты не нужны, – позволил себе заметить Фрол Савельич, раскланиваясь с дамой в желтом салоне. – Прожект – это ждать, это тратить время, которого у нее нету...

Осекся. Нет, негоже чернить лик возлюбленной: опасный путь да и бесполезный.

– Да и нет в прожектах романтики, бюрократия одна. Не сердись, Филенька, на старика, я знаю, что говорю. Как есть бюрократия. Где уж тут ароматам пороха и дыма, риску благородному, речам смелым да поступкам, от которых кровь холодеет... а то и льется. У нас же всегда как? Если стоящее дело, значит, на крови. А раз бескровное – то пустышка.

Покосился: слушает ли? Слушает. Не согласный – желваки так и ходят, кулаки то сжимаются, то разжимаются – но все одно слушает.

– И конечно же, вопросец другой, удастся ли вам карьере сделать. И третий – сделав ее, верность идеям светлым сохранить... с бомбами-то оно надежнее и понятнее. Верно? А что люди безвинные мрут – так ради дела благого, тут уж как считать? Когда добро для всех, то некоторым и пострадать можно.

– Вы... вы вот как-то говорите... верно все, но и оскорбительно! Думаете, она хочет убивать?

Хочет, потому что ненавидит, потому что ледяная она, мертвая, что снаружи, что изнутри. И прочим того же желает. Совершенства в несуществовании.

– Может, на воды тебе податься? А, Филенька? В Кисловодск, скажем... говорят, тамошние от всего излечат, глядишь, и от сердца больного, и от дури революционной.

– Смеетесь?

– Нисколько. Лучшие бы тебе и вправду уехать на год-другой. И делом заняться. Тогда воды не подходят, это аккурат самое что ни на есть безделье... а во Францию? Нет, там тоже, поговаривают, беспокойно. Тогда Англия? Или и вовсе Штаты? А то и лучше сделаем, имеется у меня знакомец один, который, смею надеяться, не откажет в просьбе составить протекцию юноше неглупому да любознательному. Хотите пользу Отечеству принести? Вот делом и займетесь. Не по вкусу химия? Ну так есть инженерное дело, судостроение, горные работы... много путей открыто, а вы только бомбы.

– Но...

– Хотите сказать, что строить дороги не так почетно, как за всеобщим счастьем охотиться? Это вы зря. Попробуйте-ка на пролетке проехаться где-нибудь за городом да по весне...

Не убедить, не оторвать, хоть ты в самом-то деле за доносы садись или и вовсе к тайному советнику Дымовскому на аудиенцию записывайся.

– Я... я подумаю, – пообещал Филенька, глаза отводя. – Я в самом деле подумаю.

– А прожесками заниматься охота, – продолжал увещевать Фрол Савельич, – вопросом земельным, так погляньте, как его соседи наши решали...

– Спасибо вам, – Филенька пожал руку. – Вы... вы, наверное, правы.

Вежливость или правда? Скорее первое, чем второе, но может, хоть призадумается. А что до доноса – тут беда, не приучен Фрол Савельич на ближних своих доносить.

А на следующий день титулярный советник Филипп Дымовский в присутствии не явился... ну а спустя неделю случилось непоправимое.

– Та женщина была очень холодной, – пожаловался мальчик, кутаясь в одеяло. – Она сделала его больным. Она сделала его... другим.

Мальчику не хватало слов, и он замолчал, настороженно думая, что, возможно, ему стоило научиться грамоте. Но вдова шляпника, которой заплатили за ученье, была злой женщиной, чем-то похожей на ту, из навеянного Тенью сна. Правда, не такой красивой, но мальчик ее боялся.

И сбежал².

– Смотри дальше, – сказала Тень, снова смешивая миры. – Смотри и запоминай.

Весть о покушении пришла ближе к вечеру. Дремавший телеграфный аппарат одной из газет, той, которая ратовала за технический прогресс и всячески поощряла новшества, очнулся. Зашелестели колесики, защелкали, зацокали молоточки, и в такт им зашевелились вялые пальцы телеграфиста, прощупывая исколотую ленту. Но в скором времени пальцы эти замерли, задрожали, рот же человека приоткрылся, а глаза налились искренними слезами.

Некоторое время Паничкин так и сидел с лентой в руке, сживаясь с мыслью чудовищной и невозможной, пугаясь ее и вместе с тем стыдливо переполняясь радостью оттого, что именно он, скромный газетчик, первым узнал о...

Он поднялся, вытер влажные ладони о сюртук, сглотнул вязкую, с привкусом вчерашнего чеснока слюну и громко, чтоб все слышали, крикнул:

– Государя убили!

Как выяснилось позже, не убили и не государя – бомбисты-революционеры совершили покушение на светлейшего князя, однако и тот остался жив и даже не был ранен, хотя без жертв не обошлось. Погибли при взрыве двое военных, купец первой гильдии Антоненко и девица Федосеева. Всех четверых в момент возвели в мучеников, террористов поспешно заклеямили с амвона и газетного листа, а светлейший князь дал приказ: разобраться.

В общем, все было обыкновенно и даже скучно.

Зима задерживалась, медлила, не решаясь вступить в городские пределы, берегла в лохматых тучах снег и только изредка, ночью, сыпала скупые горсти белой трухи. Приме-
рлясь. И с морозом также: то дыхнет ветер холодом, пролетит по улице, то отползет, сгинет

² Первая попытка дать образование Андерсену оказалась неудачной: родители отдали его учиться к вдове перчаточника, но после первой порки Ханс Кристиан забрал свой букварь и ушел. Читать и писать он научился только к 10 годам.

в подворотне, осядет коркой на трансформаторных будках, фонарях, лавках и будет таять от горячего дыхания городских утроб.

Нет, не любила Ольга такое вот межзвонье с его слякотью, белыми клубами пара, котами, спящими на канализационных люках, бродячими собаками, которые, сбиваясь в стаи, подбирались ближе к городской черте, дичали, становясь опасными.

И этого, бело-рыжего, слепого на один глаз, она обошла стороной, опасаясь разбудить, но все равно, при всей осторожности разбудила: пес приоткрыл здоровый глаз, шевельнул носом и зарычал.

– Фу! – Ольга глубоко вдохнула, успокаиваясь. Она не побежит. Нельзя бегать от собак, нельзя бегать от людей – и те и другие чувствуют страх и нападают.

Пес отвернулся и сунул морду между лап. Грется.

Мама тоже говорила, что они в город греться приходят, и выставляла за забором кости в пакете, или остатки супа, или куски старого, заплесневевшего хлеба, заливая их перед этим кипятком. Ольга тихо ненавидела ее за эту никому не нужную жалость. За то, что собаки приходили и оставались, вились под забором, устраивали драки, были по ночам, рычали и скулили.

Собаки не любили Ольгу. А однажды, когда она возвращалась из школы – вторая смена, предзимняя ночь, тусклые звезды и тусклые фонари, снежное марево, ветер и лед под ногами, – собаки напали.

Старшим в стае был кобель, здоровенный, черно-седой и лохматый, со свалывшейся шерстью и драным ухом. Он вылетел из снежной круговерти, сбив Ольгу, подмяв под себя, навалившись тяжелым, воняющим псиной телом, вцепился зубами в рукав шубы. А прочие вились вокруг, скуля и подвывая, подзадоривая.

Ольгу спасли. Она не помнила, кто и как, она очнулась уже в больнице и, увидев плюшевую собаку на постели, забилась в истерику.

Нет, ее не погрызли – защитила шуба и толстенный, связанный мамой свитер, – но челюсти кобеля сломали руку, а прививки от бешенства, обязательные и болезненные, прочно закрепили детские воспоминания.

Впрочем, история эта имела иные последствия: о произошедшем узнал Ольгин отец, а сама Ольга выяснила, что отец все-таки имеется. Были разбирательство и суд, новый дом – оказывается, Ольгину маму лишили родительских прав – и новая семья.

– Вот так, – сказала Ольга бело-рыжей твари. – Видишь, как все получилось?

Пес шевельнул обрубком хвоста, он думал о чем-то своем, собачьем, он понятия не имел, что именно собаки изменили когда-то Ольгину жизнь.

– Мама, мама, она дерется! Мамочка!

– Да Люська первая начала!

– Неправда!

– Правда-правда-правда! Ябеда-корябеда, соленый огурец!

– Мамочка!

– По полу валяется, никто тебя не ест!

– Ольга, прекрати немедленно! Сколько раз я тебе говорила... Дима, ну ты посмотри, что она делает? Сколько это будет продолжаться? У меня сил не хватает...

– Ольга!

– Она первая начала! Первая! Папа, но она же первая...

– Ольга, мы же с тобой разговаривали на эту тему. И ты обещала не трогать сестру.

– Но она же...

– Не трогать! Люсенька маленькая, ей нужно уступать, и вообще... я думаю, что тебе лучше пожить в другом месте.

– Я не хочу!

– Ольга, это очень хорошая школа. Там замечательные учителя. И у тебя будет собственная комната. Да, в нынешней ситуации вариант оптимальный... определенно...

В интернате – дорогом, частном – во дворе жила собака, огромный кобель черного окраса, со щеткой рыжей шерсти вдоль хребта и желтыми глазами, в которых Ольге чудилась насмешка. Кобель не лаял, не рычал, но стоило Ольге появиться во дворе, он тотчас оказывался рядом и, сопя, вздыхая, шел по пятам. Провожал: от общежития до школы и назад.

Впрочем, постепенно она привыкла и даже начала разговаривать с собакой: больше в школе поговорить было не с кем, именно там, в интернате, Ольга окончательно поняла – она чужая.

Она не хочет возвращаться в прошлый мир, к деревянному дому, но не имеет права претендовать на новый – он принадлежит Люське и Вальке, отцу и его жене, которую Ольга про себя продолжала называть безлико – «она».

И где-то там, в интернатский период свой, она решила, что найдет свое место. И ведь удалось. Почти удалось, остался всего-навсего шаг... и Ольга его сделает.

Сделала, и не один: шесть шагов до осклизлого заборчика с зеленоватым, плесневелым налетом, еще десять по тропинке, растоптанной и грязной, и три по ступенькам. Стук в дверь – в противовес двору и дому дверь была солидной, железной, и даже толстый неаккуратный слой краски – угольно-черной, траурной – не мог скрыть, что дверь качественная.

Ольга постучала. Отозвались сразу:

– Кто?

– Я вам звонила. Мы договаривались о встрече, о...

Скрипнув, дверь приоткрылась, в щелке показался любопытный глаз и четыре пальца с желтыми, ребристыми ногтями. Некоторое время человек изучал Ольгу, потом, слабо звякнув, упала цепочка и дверь открылась:

– Ноги вытирай. И разувайся. Тапочки в углу.

В лицо пахло дымом и травами.

Темно. И в первую минуту кажется – ослепла, но постепенно глаза привыкают, и вот уже сумрак расступается, расслаивается: легкая серая взвесь там, где за плотными шторами скрывались окна, желтоватая муть вокруг лампы – масляной, с высоким колпаком из задымленного стекла – и черные тени по углам.

Неуютно.

Пахнет травами, и сердечными каплями, и кошачьей мочой. Чудится: следят. Кто? Черный кот? Ворон? Что там еще за живность заводят ведьмы. А хозяйка-то – натуральная ведьма. Спина горбом выгнулась, голова ниже плеч опустилась, вывернулась набок, и черный, дикий глаз неотрывно пялится на Ольгу. Нос у старухи длинный, губы вялые, нижняя отвисает, обнажая десны и ровные, белые зубы.

– Туда, – костлявая лапа указала на желтый круг света, на границе которого Ольга разглядела табурет. – Садись. Говори.

Села. Не без брезгливости: табурет выглядел древним и грязным, как и стол, накрытый скатертью, больше похожей на половую тряпку.

Старуха села напротив. Теперь по ее уродливому лицу скользили сполохи, дрожал огонек под стеклянным колпаком, и снова пахло, на сей раз дымом и перегоревшим, прогорклым жиром.

– Ну, рассказывай.

– То есть вам она не знакома? – прежним, равнодушно-отрешенным тоном поинтересовался тип.

– Не знакома, – подтвердил Ефим, понимая, что ему не поверят. И ничуть не удивился, когда тип выразительно хмыкнул, постучал по столу карандашом – тоже выразительно получилось, но не страшно. В общем-то вряд ли тип ставил перед собой задачу напугать допрашиваемого, скорее уж действовал по схеме привычной, рассчитанной на людей слабых и испуганных.

Как Дашка.

Теперь она точно сбежит, и это даже к лучшему: не придется подстраиваться, гадать, ломать себя, выкручивая остатки воспоминаний. Она уйдет, и все станет, как прежде: работа-дом и горы во сне. Черное на золотом, бирюзовое на предрассветно-розовом.

– И понятия не имеете, как потерпевшая оказалась в вашем офисе? – не отставал тип. Засунув карандаш в рот, он вяло двигал челюстями, точно собирался прямо на глазах Ефима сожрать и деревянную оболочку, и тонкий грифель.

Типа звали Ричардом Ивановичем, фамилия – Стеклов, звание – капитан. Внешность – обыкновенная. Близко посаженные серые глаза, припухлые веки, пухлые губы и сдобные, с морозным румянцем щеки. Белесые брови и неожиданно темная старая щетина на круглом подбородке. Длинная шея и длинный же воротник толстого свитера, который на горле сползал вниз, обнажая покрасневший кадык, а на плечах свитер, наоборот, растягивался, да так, что сквозь дырочки просвечивала не то рубаха, не то кожа Стеклова.

– У вас же охрана, – с упреком сказал он.

– Уволю, – пообещал Ефим, понимая, что никого-то он не уволит. Дело не в охране, дело в том, что ему, Ефиму Ряхову, бросили вызов.

Только вот раньше все больше перчатками кидались, а нынче – трупами. Девчонку жалко, совсем молоденькая и, верно, хорошенькой была. Если не красавицей, то уж точно симпатичной.

– Значит, вы проводили собеседование? – баритон Стеклова возвращал к действительности. – И отыскав подходящую кандидатуру, пригласили ее на обед?

– Проводил. Отыскал. Пригласил. Запрещено?

Ричард Иванович вяло пожал плечами, выплюнул изрядно измочаленный карандаш и, по-ученически положив руки на стол, заметил.

– А вы всех новеньких обедать приглашаете?

– Избранных.

– Ефим Павлович, вы уж извините за назойливость. Мне-то без интересу ваши личные дела, мне убийство раскрыть надобно, – Стеклов часто заморгал, а румянец на его щеках стал ярче, пунцовее. – У меня отчетность.

Маска. Под наивного дурачка играет, который безопасен, который и дважды два складывая, со справочником сверяется, которому можно впаривать любую лабуду – примет за чистую монету. Интересно, многие попались? Верно, многие. Только Ефим таких вот ласковых дурней на своем веку навидался, знал, чего от них ждать: ничего хорошего.

– А давайте-ка сначала. Итак, во сколько вы вышли из кабинета в приемную?

– Три минуты второго.

– Какая точность...

– Там часы висят.

– Предусмотрительно, однако, – мелкий смех и трясущийся щетинистый подбородок. – И в приемной уже никого не было?

– Никого.

– А секретарша?

– Обедать ушла.

Он еще разозлился, увидев, что в приемной пусто: нельзя бросать кабинет без призора. Он еще решил, что непременно выговорит Анечке... Нет, не станет выговаривать,

с нее и Стеклова хватит, пусть допрашивает, пусть выясняет, когда ушла, и когда пришла, и что за пищевое расстройство с ней приключилось.

– То есть выходит, что приемная фактически осталась без присмотра, так?

– Выходит, что осталась.

– И где вы, простите, обедали?

– Кафе «Марена». Соседний квартал. У меня свидетель есть.

– Ну да, ну да, ваша новая помощница, – Стеклов вздохнул и поскреб переносицу. – Ефим Павлович, дело такое... сложное... я очень рассчитываю на ваше сотрудничество. На вашу помощь. На... на то, что мы с вами найдем общий язык. Я не люблю, когда убивают.

– Я тоже, – совершенно искренне ответил Ефим. – Так как вы сказали вас зовут?

Ричард Иванович Стеклов ненавидел собственное имя и сестру Эльвиру. Имя – за вычурность, Эльку – за пакостливый характер, острый язык и врожденное умение добиваться своего. Положение усугублялось тем, что Элька была не просто сестрицей, а близнецом, потому Ричарду постоянно казалось, что именно она, тогда еще, в утробе матери, обманула его, прибрала к ручонкам и внешность, и силу, и удачу, и вообще все, что так могло пригодиться в жизни.

– Ты псих, – сказала Элька, когда он, набравшись смелости и водки, озвучил свою теорию. – И мямля к тому же. От этого и проблемы, а я – ни при чем.

При чем, очень даже при чем. Элька довела над ним с рождения. По маминым словам, она первая стала улыбаться, первая научилась вставать и сидеть, первая заговорила... и дальше не оставила лидерских позиций.

Первая в яслях и старшей группе. Первая в классе. Первая в школе. Первая в городе на олимпиаде по математике – и ведь из вредности же пошла, не собиралась, но узнала, что Ричард участвует, и пожалуйста. Ему досталось почетное четвертое.

– Ну ничего страшного, – попыталась утешить мама, – зато Элечка первое заняла. Гордись.

И он послушно гордился.

Дурак.

И мямля.

И неудачник.

Последнее обстоятельство казалось Ричарду непреодолимым. Он пытался, честно пытался угнаться за сестрой, но вот как-то так получалось, что оставался не просто позади – его сминали, сбивали, втоптывали в пыль дороги, которая еще помнила прикосновения Элькиных ног. Это было унижительно. И больно. И страшно, но про страх Стеклов узнал много позже, когда встретился с Ксюшенькой.

Какой это был курс? Уже после армии – не поступил в МГУ, куда и не очень-то хотел, но полетел вслед за Элечкой в очередной попытке доказать, что он не хуже. Хуже, его хватило на заштатный вуз: юридический факультет, платное дневное – Элечка великодушно подбросила денег и советов. Общага. Учеба. Случайная встреча на морозе:

– Простите, это не вы уронили?

– Ой, спасибо.

Свидание. Кафе. Кино. Поцелуй. Кровать. Жаркий роман и беременность. И счастье – впервые за всю свою сознательную жизнь Стеклов был счастлив, без оговорок и ограничений, без ощущения второсортности, без чего-либо, кроме самого счастья.

Свадьба. Переезд в Москву: Ксюшке лучше рожать в столице, там и врачи, и оборудование, и мама с папой. И Элька. Встретила на пороге, окинув Ксюшу взглядом, полным презрения, заявила:

– Сюда ты эту шалаву не приведешь!

Скандал. Впервые Стеклов орал, требовал, грозил. Впервые защищал себя и собственное счастье, которое, оказалось, не всем по вкусу. Проиграл. Ночь на вокзале, поезд обратно, клятва в жизни не возвращаться домой.

Дрожащая Ксюшина рука, холодная и мокрая. Испуганные глаза, в которых читалось непонимание: за что? Стеклов и сам не понимал, а потому вместо объяснений утешал, как мог, сыпал обещаниями и рисовал грядущую жизнь, рай на троих.

Съемная квартира – в общагу Ксюше нельзя возвращаться, там грязно и сыро. Подработки. Несколько телеграмм от родителей с требованием вернуться на разговор. Элькин визит и очередная ссора. Ксюхина внезапная болезнь и собственная беспомощность: она таяла, она уходила, она бросала его, хотя и обещала всегда быть рядом.

Врачи разводили руками: здорова. Врачи рекомендовали свежий воздух и витамины. Ксюха день ото дня становилась все бледнее, а когда в очередной раз упала в обморок, Стеклов решился. Он сам позвонил Эльке, он умолял, он плакал в трубку, прося помочь. Ведь она умная и везучая, почти кандидат наук, у нее профессора в знакомых, академики, специалисты. Стеклов душу обещал продать, лишь бы вытащить.

Элька посоветовала не паниковать и повесила трубку. А спустя неделю Ксюха умерла.

Он ждал, пожалуй, с самого начала он понимал неотвратимость подобного финала, но все равно удивился: разве возможно такое, что Ксюши не станет? Нет, невозможно.

Удивление стало некоего рода анестезией, позволившей ему продержаться до похорон. И даже на кладбище, стоя у темно-красного, с кружевной оторочкой гроба, у желтой ямы с осыпающимися краями, он продолжал удивляться.

А потом лекарство иссякло. Он не помнил, что было, а рассказывать не хотели. Стыдились? Стеснялись? Не желали травмировать еще сильнее? Плевать. Ричард Иванович Стеклов точно помнил момент, когда сознание вернулось: он пил чай.

Он сидел на кухне – уже старой, родительской кухне – и хлебал чай. Крепкий и сладкий до того, что челюсти сводило. И горячий. Язык от кипятка становился шершавым, а горло – сухим. И в груди вдруг горячее растеклось. Он закашлялся и спросил:

– Что со мной?

– Двусторонняя многоочаговая пневмония, – ответила Элька, отрываясь от книги. – А еще ты придурок. Ну да это врожденное.

– А ты – убийца.

Она только хмыкнула и снова уткнулась в книгу. В тот день Ричард больше не заговорил, и в следующий, и дальше тоже. Он страстно желал умереть, пусть бы от той же пневмонии, двусторонней и многоочаговой, но желание это, как и вся его нынешняя жизнь, было пассивным, не позволяющим сопротивляться заботе и лечению.

Уколы и капельницы, массаж и прогревания, режим питания и долгие беседы с матерью на отвлеченные темы. Говорила-то в основном мать, а он слушал. И думал, как же ненавидит сестру.

Это из-за нее Ксюшенька умерла...

Все закончилось обыкновенно: он выздоровел, восстановился в университете, кинулся в учебу, как в омут, когда же с учебой было покончено – в работу. Спустя полгода Элька предложила перевод в Москву, он отказался. И во второй раз, и в третий, когда к ее просьбе присоединились родители.

– Дурак, – только и сказала сестра, пыхнув дымом. – Так и сгниешь здесь.

– Ну и пускай.

– Что «пускай»? Сколько можно уже?! Хватит нас мучить, тоже мне... выискался страдалец! Любовь до гроба... коль так любишь, то взял бы и застрелился, но нет, духу не хватит. А вот из родителей нервы вытягивать – это пожалуйста. Что, неправду говорю?

Наверное, правду. Наверное, со стороны Стеклова подобное отношение выглядело полным скотством, родители-то не виноваты и Ксюшеньку не вернешь, только... пожалуй, сумей Элька заглянуть в голову, а лучше в то, что осталось от стекловской души, она бы удивилась: внутри жила пустота. Ричарду Ивановичу было наплевать и на родителей с их душевными терзаниями, на собственный комфорт и обещанную карьеру, на коллег по работе, нынешних и будущих, преступников и на их жертв. Единственное, что все еще жило в нем, – ненависть к сестре.

– Придурок, – буркнула она, уезжая. – Ну и варись в своем дерьме, коли так охота. А я вот замуж выхожу...

Внимательный взгляд, ожидание: что скажет. А Ричард Иванович не сказал ничего. Ему было наплевать.

– На свадьбу хоть приедешь?

– Зачем?

– Затем, что надо тебя, идиота, будущей родне показать. Только, Дик, я умоляю, без этих своих... – она сделала жест руками, точно лампочку вкручивала. – Семья приличная. И вообще... Владик тебе понравится.

Другое она хотела сказать, да сдержалась, но Стеков и без слов понял – не даром же близнецы. И на свадьбу поехал. Напился – не специально, как думала Элька, просто тошно было смотреть на нее, такую красавицу, на жениха, тоже красавца, высокого и широкоплечего, сияющего, как натертый воском паркет. И на семейку его: мать профессорша, отец академик, сестра – кандидат наук и восходящее светило. И гости под стать – в чинах и погонах, в должностях и званиях, в сиянии славы, которая у него, убогого, вызывала тошноту.

Стеклова и стошнило аккуратно на белоснежную скатерть, на немецкий фарфор и сложную цветочную композицию. Гости сделали вид, что казуса не заметили, а родители устроили скандал, пригрозив отлучением от дома. Ричард напомнил, что уже отлучен, послал подальше родителей, Эльку с супругом и всех, кого только удалось вспомнить, и уехал.

С той последней встречи прошло лет десять, но не забылось, не утихло, не иссякло. Время не лечит, время лишь усугубляет болезнь, и та уходит в глубину сознания, дремлет, чтобы однажды прорваться гнилостным нарывом.

Элька позвонила. В шесть утра, что уже было странно. Элька не стала тратить слова на вежливость, она с ходу заявила:

– Буду в полвосьмого вечером. Встречай.

И трубку бросила прежде, чем он успел ответить, что не желает ее видеть. Впрочем, его желания никогда не интересовали Эльку. И вот теперь Ричард терялся в догадках, пытаясь понять, чего же ей еще понадобилось, и из-за того, что понять не получалось, злился. А уже из-за злости не мог сосредоточиться на работе и собственной рассеянности стыдился, как и желания поскорее все закончить, убраться из офиса и отделения, отправиться домой, запереться на все замки и не отпустить себя встречать сестру.

Отсидеться не выйдет. И работу надо работать.

Но с другой стороны, работа – хороший предлог, чтобы не ехать на вокзал.

– Эй, Стеков, я закончил. Будешь говорить? – Серега кивнул в сторону долговязой, изможденного вида девицы, которая сидела в углу кабинета и старательно пилилась в стену. Вероятно, девица боялась ненароком увидеть больше, чем могли бы выдержать ее нежные, девичьи нервы. К примеру, труп.

Хотя труп уже вынесли. И вообще, за исключением, пожалуй, некоторого беспорядка, приемная выглядела вполне себе обыкновенно.

Серега сказал бы, что ничто здесь не напоминало об ужасной трагедии... Он любил красоты и даже мечтал начать писать, но отчего-то все откладывал.

– Так будешь или отпускать?

Стеклов глянул на часы и, прикинув, что до назначенного времени осталось еще порядком, сказал:

– Погоди.

При ближайшем рассмотрении девица показалась еще более испуганной. Ее нездоровая бледность отливала под глазами фарфоровым голубым, а на губах и вовсе серым, который проступал сквозь тонкий слой блеска, выдавая страх куда более явно, нежели дрожащие пальцы.

– Значит, вы не были знакомы с потерпевшей? – Стеклов пристально рассматривал девицу без малейшего стеснения. А она вот смутилась, отвернулась, но он заметил, как упали ресницы, дрогнули губы, нервно задержалась синяя жилка на шее.

– Нет. Не была. Я ведь рассказывала!

– Расскажите еще раз. Вам ведь не сложно? Вот и замечательно. Так как ее звали?

– Не знаю.

– Плохо.

Девушка вздрогнула, плечи поднялись и ладони тоже, почти касаясь подбородка.

– Личность выяснять придется, – успокаивающе заметил Ричард Иванович. – Значит, встретились уже здесь?

– Да.

– И как?

– Ну... я ждала очереди, а она за мной. Пришла. И мы только парой фраз перекинулись. Она... она тоже на работу устраивалась.

– Конкурентка, значит.

– Что? Нет, вы... вы же не думаете... она... она жива была, когда я в кабинет зашла.

В том-то и дело, что времени, выходит, чуть-чуть прошло. Стеклов даже мысленно прикинул схемку: одна девица зашла в кабинет, вторая осталась в приемной. В это время секретарша уходит, и... что? Вошел некто неизвестный, убил ожидающую в приемной девушку, засунул в шкаф и ретировался – по словам Ряхова и этой бледно-дрожащей, когда они вышли, приемная была пуста. Итого на все про все – минут десять или пятнадцать с учетом того, что в любой момент мог кто-то заглянуть. Или он дверь запер? Но самое главное – зачем кому-то вообще понадобилось убивать претендентку на место секретаря?

Дело явно пованивало, и отнюдь не благодным имбирем и свежим лимоном, как этот кабинет. Коллеги говорили, что у него, Стеклова, нюх и интуиция, на самом деле ему просто нравилось сосредотачиваться на работе – не оставалось времени на боль.

– А сами-то вы как сюда попали? Ну в смысле, узнали про вакансию?

– Меня пригласили. Я резюме составила. Разместила на сайте, и пришло приглашение на собеседование. И вот...

И вот.

– Ясно. Спасибо за сотрудничество. Можете быть свободны.

Кто бы еще его освободил, нет, не от работы, а от необходимости играть в любящего родственника. Да и в квартире надо бы убратсья, Элька не любит беспорядка. Ну и бес с ней.

Ныло сердце, тянуло, крутило в груди, то бухая тяжко, так, что удар отзывался в каждой жилочке, в каждой косточке, то вдруг застывало, грозя остановиться совсем, то по-молодецки неслось вскачь, вызывая головокружение и несерьезные, дамские мигрени.

Ныло сердце давно, с того самого дня, как узнал Фрол Савельич про Филенькино исчезновение – не удержал, не уговорил, не уберег, а значит, виноват. И хоть раз за разом говорил себе титулярный советник, что вина его как есть придумана, ненастояща, но сердце не обманешь.

Ежели б не опасение перепугать домашних – матушка и так поглядывала с подозрением, – Фрол Савельич слег бы, а то и вовсе представился со стыда и горя. Но вместо этого он держался, ходил на работу, кропал статейку, уже не особо задумываясь над смыслом ее, и только гадал, причастен ли Филенька ко взрыву. Нет, его имени среди прочих не называли, но... но не могло его не быть там.

К концу второй недели, измучавшись, он не выдержал – приказным порядком, капризом старческим отослал жену и дочь в деревню, а сам, оставшись в опустевшем доме, бродил, вздыхал и пил, не от горя, но от бессилия и неспособности что-либо сделать.

Так продолжалось еще два дня, за которые Фрол Савельич опустил до невозможного – сказавшись больным, не пошел на работу. И это тоже добавило ему душевных терзаний, каковые, впрочем, принимались уже с христианским смирением и даже постыдной радостью настоящей вины.

А к утру дня третьего в квартире на Набережной появился неожиданный гость.

Гость опасный.

Филенька.

– Я... мне больше некуда пойти. Простите. Господи бога ради, простите. Я... я не знаю, я уйду, – он попятился, растопылив руки, точно цепляясь за воздух, и рукава чужого, мятого и грязного пальто съехали.

Подслеповатая старуха, пустившая Филеньку в дом, заохала, увидав перевязанные тряпками запястья и черные, задымленные пальцы, опухший и вывернутый неестественно мизинец с содранным ногтем.

– Никуда ты не пойдешь, – Фрол Савельич сказал это веско и указал на стул. – Садись. Есть хочешь?

Филенька только головой дернул. Хочет, по глазам виден и голод, и страх, и детская обида за то, что мечта обернулась таким кошмаром. Крепко ему досталось, террористу-неудачнику. Где он обретался эти две недели? Где прятался? Исхудававший и зашивевший, с обветренным лицом, спекшимися губами и старым, но все равно заметным синяком, Филенька скорее походил на жертву.

А может, так и было? Может, не взрывал он и не уходил, а... что? Похитили? Держали взаперти? Нет, тогда ему домой бы спешить под папенькину защиту.

И не стоит жалеть бедного, потому как этот бедный, как ни крути, к смерти четырех человек причастен.

Бомбист.

Он жадно хлебал суп, склонившись над тарелкой, зажав ложку в кулаке, вытягивая губы, чтобы с присвистом втянуть горячее варево, кривясь и морщась, почти не оглядываясь по сторонам.

Фрол Савельич ждал. Фрол Савельич судорожно пытался понять, что же теперь делать.

Выходило, что самое разумное – послать в полицию, пускай разбираются, кто тут виновен, а кто безвиновен, вот только вся душа, утомленная, разъеденная сомнениями, протестовала против такого выхода. Нет, не станет Фрол Савельич доносить, равно как и не погонит опасного гостя из дому. Тогда что?

– Мне... мне не нужно было приходить сюда. – Филенька, доев суп, вытирал хлебным мякишем дно тарелки. – Это опасно. Она меня ищет... она... она меня убьет. Теперь точно убьет. Черная вдова... страшная женщина... в полицию... сам не смогу, зовите полицию, Фрол Савельич. Не стесняйтесь, так справедливо будет. Я сделал, я отвечу. А вы... спасибо, что пытались. Не послушал. Дураком был, вот и не послушал. Какая польза в бомбах? Никакой. Мамочка, как же голова болит... жарко, жарко как...

Выронив ложку, Филенька дернул за высокий ворот сюртука, задел поломанный палец, заорал тоненько, вскочил, пошатнулся, упал...

Он и вправду весь горел жаром, задышался, хватая воздух бледными губами, бормоча неразборчиво, то укоряя, то жалуясь, то требуя остановиться.

Вот тебе и титулярный советник, вот тебе и карьеры начало...

– Что такое карьера? – спросил мальчик у Тени. За окном уже начиналось утро, а значит, очень скоро Тень исчезнет. Ее ведь на самом деле нет, она – лишь сон, а значит, на одну ночь. На другую и сон другим будет.

– Карьера – это то, кем ты хочешь стать, – Тень улыбнулась мыслям мальчика. Исчезать она не собиралась, как и объяснять, что на самом деле Тени привязаны к своим владельцам. Когда-нибудь мальчик поймет и это.

– Я хочу стать знаменитым!³

– И станешь, – пообещала Тень. Уж ей-то многое было известно наперед.

Три дня провалялся Филенька в беспамятстве, три дня метался Фрол Савельич. Он не решался послать за врачом из опасения, что тот донесет на больного. Он не решался донести сам, зная, что Филеньку заберут в полицию, а в нынешнем состоянии это будет самым настоящим убийством. Он боялся сразу и того, что бывший титулярный советник умрет от горячки, и того, что он выживет, а значит, снова придется что-то решать.

Он прислушивался к бреду, запоминая имена и цифры, каковых не понимал, он вытирал пот и поил с ложечки порошками, каковые, припомнив давние аптекарские навыки, составлял сам. Он менял простыни и выводил насекомых, он был и санитаркою, и врачом, и священником. Вот только молился отец Фрол не за здоровье, не за упокой души, но за справедливость высшую, каковая сама знаком будет. А в словах молитв виделись ему бирюзовые купола Новоспасской церкви и вычерненные солнцем кресты.

Филенька очнулся на четвертые сутки, ближе к вечеру. Открыл глаза и хриплым голосом спросил:

– Где я?

– Здесь, – ответил Фрол Савельич. – Пить хочешь?

– Хочу. Жарко очень.

Болезнь сожрала остатки сил и плоти, оставив от человека скелет, обтянутый влажноватой, дурно пахнущей кожей какого-то неестественного серовато-коричневого цвета. Тронь такую – и облезет гнилью. Но кожа держалась, кожа прирастала к костям, обрисовывая бугристые шары плечевых суставов, плоские решетки ребер, узкие жгуты недоеденных лихорадкою мышц и воспаленные до черноты, раздувшиеся руки.

Болезнь не изменила Филеньку, нет, она просто заменила одного человека другим. Потухшие глаза и ранняя седина, привычка запинаться и замолкать на минуту-две, уставившись в одну точку, замерев, точно в параличе.

Он больше не пел романсов, он и говорил-то нехотя, через силу, словно стесняясь своего нового, сиплого голоса.

– Я уйду, завтра же уйду, – сказал Филенька, как только сумел подняться с постели. – Уйду. Опасно оставаться. Она найдет.

³ К 14 годам, скопив сумму 30 риксдалеров, Андерсен просил мать отпустить его в Копенгаген. – Что же там из тебя выйдет? – спросила его мать. – Я сделаюсь знаменитым, – ответил мальчик. Его слова подтвердила и местная знахарка, за советом к которой и обратилась мать.

Он стоял, обеими руками вцепившись в изголовье постели, покачиваясь и держась только на одном упрямстве. Белая ночная рубаша висела на нем простынею, мешком – широким, но недлинным, прикрывавшим воспаленные колени и даже худые голени. Но щиколотки с натертостями, шариками-костями да узкие ступни с подвернутыми пальцами, на которых выделялись черные ногти, были видны.

– Никуда ты не пойдешь! – неожиданно зло рявкнул Фрол Савельич. – Посмотри на себя! Доходился уже! Хватит!

Филенька развел руки в стороны и, вдохнув, сделал шаг.

– Хватит, я сказал! – Фрол Савельич едва успел подхватить, только охнул – пусть и исхудававший, но весил Филипп немало. – Ты что это творишь, безумец? Смерти захотелось? Да ты ж на пороге ляжешь, ты...

– А если и так? – в глазах вдруг полыхнуло былой яростью. – Пусть смерти... я... я заслужил... я ведь убийца... выдайте. Фрол Савельич, выдайте! Пусть судят, пусть...

– Повесят, – закончил Фрол Савельич, помогая сесте. – Вережка как средство от чувства вины, так? Рассказывай. А там, глядишь, чего и решим.

– Они мне руки ломали... сказали, что по пальцу, что клещами... я не хотел убивать. Но убил. Заповедь... не верил никогда, а тут... погодите, Фрол Савельич, я сам. С начала. С того разговора, когда мы гулять ходили. Помните, еще день хороший был, сентябрьский. И утки на пруду. Мы с маменькой на этот пруд тоже ходили и французскую булку с собою брали, чтобы уток кормить.

Вытянул руки, положил на стол и смотрит на них. Палец поломанный сросся криво, операция нужна.

– Вы тогда много говорили, правильно. Я... я бы, наверное, согласился, – попытался сжать руку в кулак, но не вышло – согнулась этакой куриною лапою, враспыху, нелепо, смешно даже, если бы не выражение лица Филеньки. Больно ему, а морфию, чтоб хоть как боль облегчить, нету. – Она за мною послала. Вечером же. Сказала, что если я и вправду делу верен, если люблю ее, как говорю, то есть возможность доказать.

И попался премудрый пескарь на приманку. И птицею полетел возлюбленный на зов избранницы.

– Мы отправились в Петербург. Остановились в доме... нет, не спрашивайте, я не знаю, чей он. Мне не говорили. Мне ничего не говорили, чурались, точно прокаженного. Одно знаю наверняка – дом нежилой. Мебель прикрыта, стены тоже, зеркала... место белых теней, ледяное. Сказка... страна, где все незыблемо и вечно.

Показалось было, что снова бредит, но нет, это не бред – воспоминания, болезненные, изуродованные, как и сам Филенька.

– Вечностью она и поманила... поцелуи Снежной королевы сделали Кая нечувствительным к холоду, да и само сердце его стало куском льда. Кай позабыл обо всем. Он сидел и складывал разные затейливые фигуры из льдин, и в глазах его эти фигуры были чудом искусства, а складывать их – занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у Кая сидел осколок волшебного зеркала...⁴ Не читали? Помните, английская книга, вы еще для дочери ее спрашивали... да не о книге речь, я вот, как Кай, сидел и думал только о том, как доказать им всем, что достоин ее любви, царства снежного, справедливого. Дело первостепенной важности.

⁴ Ханс Кристиан Андерсен, «Снежная королева».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.